

Дикое счастье

Автор:

Дмитрий Мамин-Сибиряк

Дикое счастье

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

«- Господи Иисусе Христе, помилуй нас...

- Аминь! Кто там крещеной? Никак ты, Михалко?

- Он самый... Отворяй ворота скорей, дядя. Насквозь изняло дождем, - во как зарядил!

- Откедова Бог несет?

- В Полдневскую гонял... Дельце маленькое вышло...»

Дмитрий Мамин-Сибиряк

Дикое счастье

I

- Господи Иисусе Христе, помилуй нас...

- Аминь! Кто там крещеной? Никак ты, Михалко?

– Он самый... Отворяй ворота скорей, дядя. Насквозь изняло дождем, – во как зарядил!

– Откедова Бог несет?

– В Полдневскую гонял... Дельце маленькое вышло.

Дядя Зотушка ничего не ответил и молча принялся отодвигать тяжелый деревянный запор, которым были крепко заперты шатровые крашенные ворота. Засов отсырел от дождя, и дядя Зотушка принужден был навалиться на него всей чахоточной грудью, чтобы выдвинуть его из крепких железных скоб. «Ишь ведь взяло его...» – ворчал Зотушка, когда конец мокрого запора наконец поддался его усилиям и выдвинулся настолько, что можно было отворить маленькие ворота. В глубине темного двора как бешеная металась пестрая собака Соболько; услышав хозяина, она радостно взвизгнула и еще неистовее принялась греметь своей железной цепью.

– Ну, едва тебя Бог простил с запором-то... – проговорил Михалко, въезжая в ворота верхом.

– Ты востер больно... Ишь закипело комариное-то сало!

Дядя Зотей еще раз навалился на упрямый запор и зашлепал по дощатому мокрому полу босыми ногами. Михалко не торопясь спустился с тяжело дышавшей лошади, забрызганной липкой осенней грязью по самые уши.

– Ладно, как пересобачил лошадь-ту, – говорил дядя Зотей, оглядывая лошадь, покрытую сплошным слоем грязи.

– За долгами отец посылал, – коротко ответил Михалко, расправляя на себе смятый кожан, насквозь пропитанный холодной дождевой водой. – В два-то конца все сорок верст сделал. А ты, дядя, выводи лошадь-то, больно заморилась...

– Знамо дело, не так же ее бросить... Не нашли с отцом-то другого времени, окромя распутицы, – ворчал добродушно Зотушка, щупая лошадь под потником. – Эх, как пересобачил... Ну, я ее тут вывожу, а ты ступай скорей в

избу, там чай пьют, надо полагать. В самый раз попал.

– Так ты уж тово, Зотушка... Сперва выводи, а потом к столбу привяжи гнедка. Пусть хорошенько выстоится.

– Ладно, ладно... Без тебя знаем. Ступай. Ученого учить – только портить.

Зотушка посмотрел на широкую спину уходившего Михалка и, потянув лошадь за осклизлый повод, опять зашлепал по двору своими босыми ногами. Сутулая, коренастая фигура Михалки направилась к дому и быстро исчезла в темных дверях сеней. Можно было расслышать, как он вытирал грязные ноги о рогожу, а затем грузно начал подниматься по ступенькам лестницы.

«Этакой медведь этот Михалко! – думал Зотушка, таская за собой тяжело шагавшую лошадь. – Нет чтобы дать дяде пяточок... А-ах, чтоб тебя расстреляло!»

Голова Зотушки, с липкими жиденькими прядями волос, большим лбом, большими ушами, жиденькой бородкой, длинным носом и узенькими черными глазками, трещала со вчерашнего похмелья по всем швам. Ныла каждая косточка, каждая жилка, и так воротило с нутра, что Зотушка несколько раз начинал сердито отплевываться, приговаривая: «А-ах, Боже мой... помилуй нас грешных! Ведь всего один пяточок. Поправился бы, и шабаш. Ни-ни... Просил даве у старухи червячка заморить – в шею выгнала... Нюша дала бы, да у самой денег нет. Эх, жисть!..» В душе Зотушки родилась слабая надежда, что авось, если выводит лошадь, ему вышлют стаканчик. А славный стаканчик есть у старухи, еще дедовский, граненый, с плоским донышком. Не чета нынешним, из которых щенка не напоишь! А дождь продолжал частить, мерно осыпая железную крышу дробившимися каплями; с потолка глухо бежала вода, хлюпая в старой деревянной кадочке. Осенний темный вечер наступил незаметно и затянул все кругом беспросветной мглой – угол навеса, под которым стояли поленницы дров, амбары, конюшни, флигелек, где у старухи Татьяны Власьевны был устроен приют для старух и где в отдельной каморке ютился Зотушка. Из мрака выделялся темной глыбой только большой старинный дом, глядевший на двор своими небольшими освещенными окнами. Зотушка мог видеть в окна, что чай уже отпили, когда в комнату вошел Михалко, потому что старуха ушла на свою половину. «Сам», то есть Гордей Евстратыч, сидел еще за столом, слушая болтовню черноволосой Нюши, которая вертелась около него мелким бесом. Старшая невестка Ариша, жена Михалки, сосредоточенно перемывала чайную

посуду, взмахивая концом полотенца: сегодня ее очередь чаем всех поить.

– Нет, видно, не вышлют... – решил Зотушка, когда Михалко не торопясь выпил два стакана чаю и поднялся из-за стола. – Вот тебе и утка с квасом!..

Против окна теперь стоял Гордей Евстратыч, хозяин дома и брат Зотушки; он степенно разглаживал свою окладистую бороду, красиво исчерченную выступавшей сединой. Михалко, видимо, отчитывался ему в своей поездке, откладывая что-то на пальцах. В такт цифрам он встряхивал своими подстриженными в скобу волосами, а потом добыл из кармана пиджака потертый бумажник и вынул из него пачку засаленных кредиток. «Рублей тридцать будет», – подумал Зотушка про себя и еще раз усомнился: вынесут ему стаканчик или нет. Ведь если по-человечеству-то разобрать, так он уж сколько времени вываживает лошадь, а на дворе вон какая непогода – всего промочило до нитки.

На этот раз Зотушка не дождался стаканчика и, выведив лошадь, привязал ее к столбу выстаиваться, а сам ушел в свою конуру, где сейчас же и завалился спать.

К ужину в небольшой проходной комнате, выходившей окнами на двор, собралась вся семья: Татьяна Власьевна, Гордей Евстратыч, старший сын Михалко с женой Аришей, второй сын Архип с женой Дуней и черноволосая бойкая Нюша. Гордей Евстратыч был вдовец, и весь дом вела его мать, Татьяна Власьевна, высокая, ширококостная старуха раскольничьего склада; она строго блюла за порядком в доме, и снохи ходили у ней по струнке. Издали эта крепкая купеческая семья могла умилить самого завязатого поклонника патриархальных нравов, особенно когда все члены ее собирались за столом. Обеды и ужины проходили в торжественном молчании, точно совершалось таинство. Разговаривать могли только «сам» и «сама», а молодые должны были только отвечать на вопросы. Впрочем, для Нюши и старшей невестки Ариши делалось исключение, и они могли иногда вернуть свое словечко, хотя «сама» и подбирала строго каждый раз свои сухие, бесцветные губы. Сегодняшний ужин походил на все другие. Мужчины в одних ситцевых рубашках занимали одну половину длинного стола, женщины другую. Татьяна Власьевна была одета в свой неизменный косоклиный кубовый сарафан с желтыми проймами и в белую холщовую рубаху; темный старушечий платок с белыми горошинами был повязан на голове кикой, как носят старухи-кержанки. Невестки и Нюша, в ситцевых сарафанах, таких же рубахах и передниках, были одеты как сестры;

строгая Татьяна Власьевна не хотела никого обижать, показывая костюмом, что для нее все равны. Только бабьи повязки невесток выделяли их положение в семье; непокрытая голова Нюши с черной длинной косой говорила о ее непокрытой девичьей вольной волюшке.

Обеденный стол был накрыт синей пестрядевой скатертью; все ели из одной чашки деревянными ложками. День был постный, и стряпка Маланья, кривая старая девка в кубовом синем сарафане, подала на стол только постные щи с поземиной да гречневую кашу с конопляным маслом. Больше ничего не полагалось, а Татьяна Власьевна для постного дня даже к поземине не прикоснулась, потому что это все-таки рыба, хотя и сушеная. Маланья была свой человек в доме, потому что жила в нем четвертый десяток; такая прислуга встречается в хороших раскольничьих семьях, где вообще к прислуге относятся особенно гуманно, хотя по внешнему виду и строго.

Сегодня Гордей Евстратыч был особенно в духе, потому что Михалко привез ему из Полдневской один старый долг, который он уже считал пропащим. Несколько раз он начинал подшучивать над младшей невесткой Дуней, которая всего еще полгода была замужем; красивая, свежая, с русым волосом и ленивыми карими глазами, она только рдела и стыдливо опускала лицо. Красавец Архип, муж Дуни, любовался этим смущением своей молодайки и, встряхивая своими черными, подстриженными в скобу волосами, смеялся довольной улыбкой.

- Будет вам лясы-то точить, - строго заметила Татьяна Власьевна, останавливая эту сцену. - Ведь за столом сидим, Гордей Евстратыч. Тебе бы других удержать от лишнего слова, а ты сам первый затейщик...

- Ну не буду, мамынька, - оправдывался Гордей Евстратыч, разглаживая свою бороду. - Пошутил, и кончено...

- Уж бабушка всегда у нас такая... - прибавила Нюша.

- Какая такая? - сердито заговорила Татьяна Власьевна. - Ну, говори, верченая!..

- Да такая... слово сказать нельзя.

- Ох, ты-то - невитое сено!.. У тебя и на уме-то все одни хи-хи да смехи. Погоди, вот...

Татьяна Власьевна недосказала конца фразы, хотя все хорошо поняли, что она хотела сказать: «Погоди, вот выйдешь замуж-то, так не до смеху будет... Востра больно!» Это была стереотипная угроза, которая слишком часто повторялась, чтобы испугать бойкую и неугомонную Нюшу. На ворчанье бабушки у нее был отличный ответ, который она, к сожалению, могла говорить только про себя: «Нашла чем пугать... У меня жених давно приготовлен, только дорогу перейти – тут и жених. А зовут его Алешкой Пазухиным!..» Невестки хотя и дружили с Нюшей, особенно Ариша, но внутренне были против нее, потому что Нюша все-таки была «отецкая», баловная дочка, и Татьяна Власьевна ворчала на нее только для видимости. Существование Алешки Пазухина не было тайной ни для кого в семье, хотя об этом никто не говорил ни слова: парень был подходящий, хорошей «природы», как говорила про себя степенная Татьяна Власьевна.

После ужина все, по старинному прадедовскому обычаю, прощались с бабушкой, то есть кланялись ей в землю, приговаривая: «Прости и благослови, бабушка...» Степенная, важеватая старуха отвечала поясным поклоном и приговаривала: «Господь тебя простит, милушка». Гордею Евстратычу полагались такие же поклоны от детей, а сам он кланялся в землю своей мамыньке. В старинных раскольничьих семьях еще не вывелся этот обычай, заимствованный из скитских «метаний».

Когда все начали расходиться по своим углам, молчавший до последней минуты Михалко проговорил:

– А у меня, тятенька, до тебя дельце есть небольшое...

Он замялся и почесал у себя в затылке.

– Пойдем ко мне в горницу, – проговорил Гордей Евстратыч, удивленный «дельцем» Михалки.

Дом хотя был и одноэтажный, но делился на много комнат: в двух жила Татьяна Власьевна с Нюшей; Михалко с женой и Архип с Дуней спали в темных чуланчиках; сам Гордей Евстратыч занимал узкую угловую комнату в одно окно, где у него стояла двухспальная кровать красного дерева, березовый шкаф и конторка с бумагами. Лучшие комнаты, как во всех купеческих домах, стояли совсем пустыми, потому что служили парадными приемными при разных торжественных случаях. Вся семья жалась по крошечным клетушкам целый год,

чтобы два или три раза в год принять гостей по-настоящему, как принимали все другие. Эти «другие», «как у других» – являлось железным законом.

– Ну что, Миша?.. – спрашивал Гордей Евстратыч, притворяя за собой дверь.

– Да вот, тятенька... я тебе привез гостинец от старателя Маркушки, – неторопливо проговорил Михалко, добывая из кармана штанов что-то завернутое в смятую серую бумагу.

– Это из Полдневской?

– Да. От Маркушки... Он сильно скудается здоровьем-то. «Вот, – говорит, – увидишь отца, отдай ему, пусть поглядит, а ежели, – говорит, – ему поглянется – пусть приезжает в Полдневскую, пока я не умер». У Маркушки водянка, сказывают. Весь распух, точно восковой.

Гордей Евстратыч осторожно развернул бумагу и вынул из нее угловатый кусок белого кварца с желтыми прожилками. В его трещинах и ноздринках блестело желтоватыми искорками вкрапленное в камень золото. В одном месте из белой массы вылезали два золотых усика, в другом несколько широких блесток были точно приклеены к гладкому камню. Повертывая кусок кварца перед лампой, Гордей Евстратыч рассмотрел в одном углублении, где желтела засохшая глина, целый самородок, походивший на небольшой боб; один край самородка был точно обгрызен. Да, это было золото, настоящее, червонное золото. Один самородок весил не меньше ползолотника... Гордей Евстратыч не мог оторвать глаз от заветного камешка, который точно приковал его к себе.

– Жилка... – в раздумье проговорил Гордей Евстратыч, чувствуя, как у него на лбу выступил холодный пот. – Видишь, Миша?

Михалко хотел взять в руки кусок кварца, но Гордей Евстратыч отстранил его и опять внимательно принялся рассматривать его перед огнем. Но теперь он уже любовался куском золотоносной руды, забыв совсем о Михалке, который выглядывал из-за его плеча.

– Так Маркушка-то зачем послал с тобой жилку-то? – спрашивал Гордей Евстратыч, приходя в себя. – За долг?

– Нет, про долг он ничего не говорил, а только наказывал, чтобы ты приехал в Полдневскую. «Надо, – говорит, – мне с Гордеем Евстратычем переговорить...» Крепко наказывал.

– А про жилку-то он тебе говорил или нет?

– Только всего и сказал: «Покажи, – говорит, – тятеньке скварец; ежели поглянется, пусть приезжает скорее...» А когда стал жилку в бумагу завертывать, прибавил еще: «Ох, хороша штучка!»

– Так он, Маркушка-то, сильно, говоришь, болен? – спрашивал Гордей Евстратыч, соображая совсем о другом.

– Да, совсем в худых душах...[1 - То есть при смерти. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)] Того гляди, душу Богу отдаст. Кашель его одолел. Старухи пользуют чем-то, да только легче все нет.

Гордей Евстратыч не слышал последних слов, а схватившись за голову, что-то обдумывал про себя. Чтобы не выдать овладевшего им волнения, он сухо проговорил, завертывая кварц в бумагу:

– Все это вздор, Миша... Ступай, спи с Богом. Маркушка не нас первых с тобой обманывает на своем веку.

II

К девяти часам вечера все в доме были на своих местах, потому что утром нужно рано вставать. Татьяна Власьевна всех поднимает на ноги чем свет и только одной Арише позволяет понежиться в своей каморке лишней часок, потому что Ариша ночью возится с своим двухмесячным Степушкой.

Две комнаты, в которых жила Татьяна Власьевна, напоминали скорее монастырскую келью. Низкие потолки, оклеенные дешевыми обоями стены; выкрашенные синей краской дверные косяки и широкие лавки около стен; большой иконостас в углу с неугасимой лампадой; несколько окованных

мороженым железом сундуков, сложенных по углам в пирамиду, – вот и все. На полу были постланы чистые половики, тканые из пестрой ветошки, на окнах белели кисейные занавески; около кровати, где спала Нюша, красовался старинный туалет с вычурной резьбой. В этих двух комнатах всегда пахло росным ладаном, горелым деревянным маслом, геранью, желтыми восковыми свечами, которые хранились в длинном деревянном ящике под иконостасом, и тем специфическим, благочестивым по преимуществу запахом, каким всегда пахнет от старых церковных книг в кожаных переплетах, с медными застежками и с закапанными воском, точно вылощенными, страницами. До старинных книг Татьяна Власьевна была великая охотница, хотя и считалась давно уже единоверкой; она никогда не упускала случая приобрести такую книгу, чтобы иметь возможность почитать ее наедине. Из этих книг составила у ней маленькая библиотека, которая и хранилась в особом шкафике, висевшем на стене рядом с иконостасом. К старине Татьяна Власьевна питала почти болезненную слабость, все равно, в каких бы формах ни проявлялась эта старина: она хранила как зеницу ока все сарафаны, полученные ею в приданое, старинные меха, шубы, крытые излежавшейся материей, даже изъеденные молью лоскутки и разное тряпье.

После ужина Татьяна Власьевна молилась бесконечной старинной молитвой с лестовкой в руках. Поклоны откладывались по уставу, как выучили Татьяну Власьевну с детства раскольничьи «исправницы». Засыпая в своей кровати крепким молодым сном, Нюша каждый вечер наблюдала одну и ту же картину: в переднем углу, накрывшись большим темным шелковым платком, пущенным на спину в два конца, как носят все кержанки, бабушка молится целые часы напролет, откладываются широкие кресты, а по лестовке отсчитываются большие и малые поклоны. Глядя на высохшее желтое лицо бабушки, с строгими серыми глазами и прямым носом, Нюша часто думала о том, зачем бабушка так долго молится? Неужели у ней уж так много грехов, что и замолить нельзя? Девушка иногда сердилась на упрямую старуху, особенно когда та принималась ворчать на нее, но когда бабушка вставала на молитву – это была совсем другая женщина, вроде тех подвижниц, какие глядят строгими-строгими глазами с икон старинного письма. Конца бабушкиной молитвы Нюша не могла никогда дожидаться и засыпала сладким сном под мерный шепот бесконечных канунов. На этот раз девушка особенно долго болтала, мешая старухе молиться.

– А ты, баушка, на меня не сердись? – спрашивала Нюша впросонье.

– Отстань, – с фальшивой строгостью отвечала бабушка, путаясь в счете поклонов.

– В то воскресенье мы к Пятовым пойдем, баушка... Пойдем?.. Фене новое платье сшили, называется бордо, то есть это краска называется, баушка, бордо, а не материя и не мода. Понимаешь?

– Отстань!..

– Феня такая счастливая... – с подавленным вздохом проговорила Нюша, ворочаясь под ситцевым стеганым одеялом. – У ней столько одних шелковых платьев, и все по-модному... Только у нас у одних в Белоглинском заводе и остались сарафаны. Ходим как чучелы гороховые.

– Ты у меня помели еще, безголовая! О Господи! согрешила я, грешная, с этой девкой... Ох, уж повесят тебя на том свете прямо за язык!

Молчание. Опять поклоны. Неугасимая лампада горит неровным пламенем, разливая кругом колеблющийся неверный свет. Желтые полосы света бродят по выбеленному потолку, на мгновение выхватывают из темноты угол старинной печи и, скользя по полу, исчезают. Нюша долго наблюдает эту игру света, глаза у ней слипаются, начинает клонить ко сну, но она еще борется с ним, чтобы чуточку подразнить строгую бабушку.

– Баушка, Вукол-то Логиныч, сказывал даве Архип, зонтик себе в городе купил, – начинает Нюша, сладко позевывая. – А знаешь, сколько он за него заплатил?

– Отстань...

– Шелковый зонтик-то, баушка! А ручка точеная из слоновой кости. Только Архип сказывает, что выточена такая фигура, что девушкам и смотреть совестно.

– Тьфу!.. тьфу!.. – отплевывалась старуха. – Провались ты с своим Вуколом Логинычем... Нашла важное кушанье!.. Срамник он, Вукол-то Логиныч... Тьфу!..

– Баушка, да ведь он за зонтик-то заплатил семьдесят целковых... Ей-богу! Хоть сама спроси у Архипа.

– Как семьдесят?

– Право, баушка, семьдесят целковых за один зонтик...

– Ох, дурак, дурак этот Вукол... Никого у них в природе-то таких дураков не было. Ведь Шабалины-то по нашим местам завсегда в первых были, особенно дедушка-то, Логин. Богатые были, а чтобы таких глупостей... семьдесят целковых! Это на ассигнации-то считать, так чуть не триста рублевиков... Ох-хо-хо!.. Уж правду сказать, что дикая-то копеечка не улежит на месте.

Взволнованная семидесятирублевым зонтиком, Татьяна Власьевна позабыла свои кануны и принялась рассказывать поучительные истории о Шабалиных, Пятовых, Колобовых, Савиных и Пазухиных. Вон какой народ-то, все как на подбор! Таких с огнем поискать, и не в Белоглинском заводе. Крепкий народ, по всему Уралу знают белоглинских-то. Даже из Москвы выезжают за нашими невестами. Вот оно что значит природа-то... Теперь взять хоть Настю Шабалину – вышла за сарапульского купца; Груня Пятова в Москву вышла; у Савиных дочь была замужем за рыбинским купцом, да умерла, сердечная, третий годок пойдет с зимнего Николы. А Вукол Логиныч что? Он только свою природу срамит... Семьдесят рублей зонтик! Да и другие-то, глядя на него, особенно которые помоложе, – пошаливают. Вон у Пятовых сынок-то в Ирбитской что настряпал! Легкое место сказать... А всему заводчик Вукол, чтобы ему ни дна ни покрывки. В допрежние времена таких дураков и не бывало. Так, дурачили промежду себя, только чтобы зонтиков покупать в семьдесят целковых – нет, этого не бывало.

Последние фразы Татьяна Власьевна говорила в безвоздушное пространство, потому что Нюша, довольная своей выходкой с зонтиком, уже спала крепким сном. Ее красивая черноволосая головка, улыбавшаяся даже во сне, всегда была набита самыми земными мыслями, что особенно огорчало Татьяну Власьевну, тяготевшую своими помыслами к небу. Прочитав еще два кануна и перекрестив спавшую Нюшу, Татьяна Власьевна осмотрела, заперты ли окошки на болты, надела на себя пестрядевый пониток и вышла из комнаты. Не торопясь, вышла она и заперла за собой тяжелую дверь на висячий замок, притворила осторожно сени и заглянула на двор. Дождь перестал, по небу мутной грядой ползли низкие облака, в двух шагах трудно было что-нибудь отличить; под ногами булькала вода. Перекрестив дом и двор, старуха впотьмах побрела к воротам. Чтобы не упасть, ей приходилось нащупывать рукой бревенчатую стену. Отворив калитку, Татьяна Власьевна еще раз благословила спавший крепким сном весь дом, а потом заперла калитку на тяжелый висячий замок и осторожно принялась

переходить через улицу. В одном месте она черпнула воды своим низким башмаком без каблука, в другом обеими ногами попала в грязь; ноги скоро были совсем мокры, а вода хлюпала в самых башмаках. Но старуха продолжала идти вперед; Старая Кедровская улица была ей знакома как свои пять пальцев, и она прошла бы по ней с завязанными глазами. Недаром она выжила в этой улице пятьдесят лет. Вот через дорогу дом Пазухиных; у них недавно крышу перекрывали, так под самыми окнами бревно оставили плотники, – как бы за него не запнуться. От дома Пазухиных вплоть до Гнилого переулка идет одно прясло, а повернешь в переулок – тут тебе сейчас домик о. Крискента. Славный домик, с палисадником и железной крышей; в третьем годе, когда у о. Крискента родился мертвенький младенец, дом опалубили и зеленой краской выкрасили. Татьяна Власьевна по Гнилому переулку вышла на большую заводскую площадь, посредине которой неправильной глыбой темнела выступавшая углами, вновь строившаяся единоверческая церковь. Когда старуха взяла площадь наискось, прямо к церкви, небо точно прояснилось, и она на мгновение увидела леса и переходы постройки. Где-то брехнула собака. Редкие капли дождя еще падали с неба, точно серые нависшие тучи отряхивались, роняя на землю последние остатки дождя.

– Слава тебе, Господи! – прошептала Татьяна Власьевна, когда переступила за черту постройки.

Помолившись на восток, она отыскала спрятанную под тесом носилку для кирпичей, надела ее себе на плечи, как делают каменщики, и отправилась с ней к правильным стопочкам кирпича, до которого добралась только ощупью. Сложив на свою носилку шесть кирпичей, Татьяна Власьевна надела ее себе на спину и, пошатываясь под этой тяжестью, начала с ней подниматься по лесам. Кругом было по-прежнему темно, но она хорошо знала дорогу, потому что вот уже третью неделю каждую ночь таскала по этим сходням кирпичи. Раньше ночи были светлые, и старуха знала каждую доску.

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий... – шептала Татьяна Власьевна, поднимаясь по сходням кверху.

Доски были мокры от недавнего дождя, и нога скользила по ним; прикованные гвоздями поперечные дощечки, заменявшие ступеньки, кое-где оборвались с своих мест, и приходилось ощупывать ногой каждый шаг вперед, чтобы не слететь вниз вместе с своей тридцатифунтовой ношей. Но эта опасность и придавала силу работавшей старухе, потому что этим она выполняла данное

обещание поработать Богу в поте лица. Давно было дано это обещание, еще в молодые годы, а исполнять это приходилось теперь, когда за спиной висели семьдесят лет, точно семьдесят тяжелых кирпичей. Да, много было прожито и пережито, и суровая старуха, сгибаясь под ношей, тащила за собой воспоминания, как преступник, который с мучительным чувством сосущей тоски вспоминает мельчайшие подробности сделанного преступления и в сотый раз терзает себя мыслью, что было бы, если бы он не сделал так-то и так-то. «Господи помилуй!.. Господи помилуй!» – шептала Татьяна Власьевна от сознания своей человеческой немощи. Но вот первая ноша поднята, вот и карниз стены, который выводят каменщики; старуха складывает свои кирпичи там, где завтра должна продолжаться кладка. Небо все еще обложено темными тучами, но в двух или трех местах уже пробиваются неясные светлые пятна, точно небо обтянуто серой материей, кое-где сильно проношенной, так что сквозь образовавшиеся редины пробивается свет. После двух подъемов на леса западная часть неба из серой превратилась в темно-синюю – сверкнула звездочка, пахнуло ветром, который торопливо гнал тяжелые тучи. Татьяна Власьевна присела в изнеможении на стопу принесенных кирпичей, голова у ней кружилась, ноги подкашивались, но она не чувствовала ни холодного ветра, глухо гудевшего в пустых стенах, ни своих мокрых ног, ни надсаженных плеч. Вон из осенней мглы выступают знакомые очертания окрестностей Белоглинского завода, вон Старая Кедровская улица, вон новенькая православная церковь, вон пруд и заводская фабрика... Выглянувший из-за туч месяц ярко осветил всю картину спавшего завода – ряды почерневших от недавнего дождя крыш, дымившиеся на фабрике трубы, домик о. Крискента, хоромины Шабалиных. Все это были немые свидетели долгой-долгой жизни, свидетели, которые не могли обличить словом, но по ним, как по отдельным ступенькам лестницы, неугомонная мысль переходила через длинный ряд пережитых годов. Все это было, и Татьяна Власьевна переживает свою жизнь во второй раз, переживает вот здесь, на вершине постройки, откуда до неба, кажется, всего один шаг. Но именно этот шаг и пугает ее; она хватается за голову и со слезами на глазах начинает читать вырвавшийся из больной души согрешившего царя крик: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей!»

Но нужно носить кирпичи; до утра осталось часа три; Татьяна Власьевна спускается вниз и поднимается с тяжелой ношей почти машинально, как заведенная машина. Именно такой труд, доводящий старое тело почти до полного бесчувствия, – именно такой труд дает ее душе тот покой, какого она страстно домогается и не находит в обыкновенных христианских подвигах, как пост, молитва и бесконечные поклоны. Да, по мере того как тело становится лишней тягостью, на душе все светлее и светлее... Татьяна Власьевна видит

себя пятнадцатилетней девушкой – она такая высокая, рослая, с румянцем во всю щеку. Все на нее заглядываются, даже старики. Ей никто не нравится, хотя она не прочь поглазеть на молодых парней. Ох-хо-хо!.. Никем-то никого не осталось из бывших молодцев, точно они уплыли один за другим. Да, никого не осталось в живых, только она одна, чтобы замаливать свои и чужие грехи. На шестнадцатом году Таню выдали замуж за вдовца-купца по фамилии Брагин; до венца они не видали друг друга. Ей крепко не понравился старый муж, но стерпела и помирилась с своей судьбой, благо вышла в достаточную семью на свое хозяйство, не знала свекровушкиной науки, а потом пошли детки-ангелочки... Все девичье глупое горе износилось само собой, и подумала Татьяна Власьевна, что так она и век свой изживет со старым нелюбимым мужем. Конечно, завидно иногда было, глядя на чужих молодых мужей, но уж кому какое счастье на роду написано. Венец – суд Божий, не нам его пересуживать. Так думала Татьяна Власьевна, да не так вышло. Уж прожила она замужем лет десять, своих детей растила, а тут и подвернись случай... И какой случай!.. Господи, прости меня, окаянную... Да, были и раньше случаи, засматривались на красавицу-молодку добрые молодцы, женатые и холостые, красивые были, только никому ничего не досталось: вздохнет Татьяна Власьевна, опустит глаза в землю – и только всего. Один особенно тосковал по ней и даже чуть рук на себя не наложил... Прости и его согрешения, Господи... А горе пришло нежданно-негаданно, как вор, когда Татьяна Власьевна совсем о том и не думала. Приехал в Белоглинский завод управитель Пятов, отец Нила Поликарпыча. Ну, познакомился со всеми, стал бывать. И из себя-то человек – глядеть не на кого: тощий, больной, все кашлял, да еще женатый, и детишек полный дом. Познакомился этот Пятов с мужем Татьяны Власьевны так, что и водой не разольешь: полюбились они друг другу. На именинах, по праздникам друг к дружке в гости всегда ездили. Жена у Пятова была тоже славная такая, хоть и постарше много Татьяны Власьевны. Вот однажды приехал Пятов на Масленице в гости к Брагиным, хозяина не случилось дома, и к гостю вышла сама Татьяна Власьевна. Посидели, поговорили. А Пятов нет-нет да и взглянет на нее, таково ласково да приветливо взглянет; веселый он был человек часом, когда в компании...

– Что это ты на меня так глядишь, Поликарп Семеныч? – спросила Татьяна Власьевна. – Точно сказать что-то хочешь...

– Хочу сказать, Татьяна Власьевна, давно хочу... – ответил Пятов и как будто из себя немного замешался.

– Ну так говори...

– А вот что я скажу тебе, Татьяна Власьевна: погубила ты меня, иссушила!..
Господь тебе судья!..

Тихо таково вымолвил последнее слово, а сам все на хозяйку смотрит и смеется. У Татьяны Власьевны от этих слов мороз по коже пошел, она хотела убежать, крикнуть, но он все смотрел на нее и улыбался, а у самого так слезы и сыплются по лицу.

– Гоните меня, Татьяна Власьевна... – тихо заговорил Пятов, не вытирая слез. –
Гоните...

От этих слов у Татьяны Власьевны точно что оборвалось в груди: и жаль ей стало Поликарпа Семеныча, и как-то страшно, точно она боялась самой себя. А Пятов все смотрит на нее... Красивая она была тогда да молодая, – кровь с молоком бабенка! А в своем синем сарафане и в кисейной рубашке с узкими рукавами она была просто красавица писаная. Помутилось в глазах Пятова от этой красавицы, от ясных ласковых очей, от соболиных бровей, от белой лебяжьей груди, – бросился он к Татьяне Власьевне и обнял ее, а сам плачет, плачет и целует руки, шею, лицо, плечи целует. Онемела Татьяна Власьевна, жаром и холодом ее обдало, и сама она тихо-тихо поцеловала Поликарпа Семеныча, всего один раз поцеловала, а сама стоит перед ним, как виноватая.

– Насмеялся ты надо мной, Поликарп Семеныч, – заговорила она, когда немного пришла в себя. – Опозорил мою головушку... Как я теперь на мужа буду глядеть?

– Голубушка, Татьяна Власьевна... Мой грех – мой ответ. Я отвечу за тебя и перед мужем, и перед людьми, и перед Богом, только не дай погибнуть христианской душе... Прогонишь меня – один мне конец. Пересушила ты меня, злая моя разлучница... Прости меня, Татьяна Власьевна, да прикажи мне уйти, а своей воли у меня нет. Что скажешь мне, то и буду делать.

– Уходи, Поликарп Семеныч... Бог тебе судья!..

Побелел он от этих слов, затрясся.

– Прощай, чужая жена – моя погибелюшка, – проговорил он, поклонился низко-низко и пошел к дверям.

Опять сделалось страшно Татьяне Власьевне, страшнее давешнего, а он идет к дверям и не оглядывается... Подкосились резвые ноги у красавицы-погибелюшки, и язык сам сказал:

– Поликарп Семеныч!.. воротись!

Ох, вышел грех, большой грех... – пожалела Татьяна Власьевна грешного человека, Поликарпа Семеныча, и погубила свою голову, навсегда погубила. Сделалось с нею страшное, небывалое... Сама она теперь не могла жить без Поликарпа Семеныча, без его грешной ласки, точно кто ее привязал к нему. Позабыла и мужа, и деток, и свою спобедную головушку для одного ласкового слова, для приворотного злого взгляда.

Так они и зажили, а на мужа точно слепота какая нашла: души не чаает в Поликарпе Семеныче; а Поликарп Семеныч, когда Татьяна Власьевна растужится да расплачется, все одно приговаривает: «Милушка моя, не согрешишь – не спасешься, а было бы после в чем каяться!» Никогда не любившая своего старого мужа, за которого вышла по родительскому приказанию, Татьяна Власьевна теперь отдалась новому чувству со всем жаром проснувшейся первой любви. В качестве запретного плода эта любовь удесятирила прелесть тайных наслаждений, и каждый украденный у судьбы и людей час счастья являлся настоящим раем. Плодом этой преступной связи и был Зотушка, несколько не походивший на своего старшего брата Гордея и на сестру Алену.

Муж Татьяны Власьевны промышлял на Белоглинском заводе торговлей «панским», то есть ситцами, сукном и т. д. Дело он вел хорошо, и трудовое богатство наливалось в дом как вода. А тут старший сын начал подрастать и отцу в помощь пошел: все же кошку в лавку не посадишь или не пошлешь куда-нибудь. Из Гордея вырабатывался не по летам серьезный мальчик, который в тринадцать лет мог править дело за большого. Все шло как по маслу. Брагины начали подниматься в гору и прослыли за больших тысячников, но в один год все это благополучие чуть не пошло прахом: сам Брагин простудился и умер, оставив Татьяну Власьевну с тремя детьми на руках. Этот неожиданный удар совсем ошеломил молодую вдову как Божеское наказание за ее грехи. Постылый старый муж, который умер с спокойной совестью за свое семейное счастье, теперь встал пред ней немым неотступным укором. После девяти Татьяна

Власьева пригласила к себе в дом Поликарпа Семеныча и сказала ему, опустив глаза:

– Ну, Поликарп Семеныч, теперь уже прощай... Будет нам грешить. Если не умела по своему малодушию при муже жить, так надо теперь доучиваться одной.

– Как же это, Таня...

– Я тебе не Таня больше, а Татьяна Власьева. Так и знай. Мое слово будет свято, а ты как знаешь... Надо грех замаливать, Поликарп Семеныч. Прощай, голубчик... не поминай лихом...

Голос у Татьяны Власьевны дрогнул, в глазах все смешалось, но она пересилила себя и не поддавалась на «прелестные речи» Поликарпа Семеновича, который рвал на себе волосы и божился на чем свет стоит, что сейчас же наложит на себя руки.

– А я буду молиться за тебя Богу, – уже спокойно ответила Татьяна Власьева, точно она замерла на одной мысли.

Этим все и кончилось.

Татьяна Власьева как ножом обрезала свою старую жизнь и зажила по-новому, «честной матерной вдовой», крепко соблюдая взятую на себя задачу. В это время ей всего было еще тридцать лет, и она, как одна из первых красавиц, могла выйти замуж во второй раз; но мысли Татьяны Власьевны тяготели к другому идеалу – ей хотелось искупить грех юности настоящим подвигом, а прежде всего поднять детей на ноги. Время бежало быстро, дети выросли. Старший, Гордей, был вылитый отец – строгий, обстоятельный, деляга; второй, Зотей, являлся полной противоположностью, и как Татьяна Власьева ни строжила его, ни начала – из Зотей ничего не вышло, а под конец он начал крепко «зашибать водкой», так что пришлось на него совсем махнуть рукой. Татьяна Власьева должна была примириться с этим как с Божеским наказанием за свой грех и утешилась старшим сыном, которого скоро женила. Внучата на время заставили Татьяну Власьевну отложить мысль о подвиге, тем более что жена Гордея умерла рано и ей пришлось самой воспитывать внучат.

Вот те мысли, которые мучительно повертывались клубком в голове Татьяны Власьевны, когда она семидесятилетней старухой таскала кирпичи на строящуюся церковь. Этот подвиг был только приготовлением к более трудному делу, о котором Татьяна Власьевна думала в течение последних сорока лет, это – путешествие в Иерусалим и по другим святым местам. Теперь задерживала одна Нюша, которая, того гляди, выскочит замуж, – благо и женишок есть на примете.

«Вот бы только Нюшу пристроить, – думала Татьяна Власьевна, поднимаясь в десятый раз к кирпичам. – Алексей у Пазухиных парень хороший, смиренный, да и природа пазухинская по здешним местам не последняя. Отец-то, Сила Андроныч, вон какой парень, под стать как раз нашему-то Гордею Евстратычу».

Старуха проработала до четырех часов, когда на фабрике отдали первый свисток на работу. Она набожно помолилась в последний раз и поплелась домой, разбитая телом, но бодрая и точно просветленная духом. Кругом было все темно, но в избах уже мелькали яркие огоньки: это топились печки у заботливых хозяев. Вон у о. Крискента тоже искры сыплются из трубы, – значит, стряпка Аксинья рано управляется. У Пазухиных темно: у них подолгу спят. Подходя к своему дому, Татьяна Власьевна заметила в окне горницы Гордея Евстратыча огонь.

«Уж не болен ли? – подумала старуха и торопливо зашагала через улицу. – Куда ему эку рань подниматься?.. Может, надо малиной или мятой его напоить».

Гордей Евстратыч действительно не спал, но только не по нездоровью, а от одолевших его мыслей, которые колесом вертелись кругом привезенной Михалком жилки. Сначала он пытался заснуть и лежал с закрытыми глазами часа два, но все было напрасно – сон бежал от Гордея Евстратыча, оставляя в душе мучительно сосавшую пустоту. Зачем старатель Маркушка желает видеть его и зачем он послал с Михалком эту проклятую жилку? А жилка богатейшая... Может быть, Маркушка нашел эту жилку и хочет продать ему... Все может быть, только не нужно упускать случая. Мало ли бывало таких случаев. Эти старатели все знают, а Маркушка совсем прожженный.

Занятый этими мыслями, он не обратил внимания даже на то, как осторожно отворилась калитка и затем заскрипела дверь в сенях.

– Ты что это, Гордей? – спрашивала Татьяна Власьевна, появляясь в дверях его комнаты. – Уж не попритчилась ли какая немочь?

– Нет, мамынька... Так, не поспалось что-то, клопы, надо полагать. Скажи-ка стряпке насчет самоварчика, а потом мне надо будет ехать в Полдневскую.

– Да ведь Михалко вчера в Полдневскую гонял?

– Гонял, да без толку... Самому надо съездить.

III

Напившись чаю, Гордей Евстратыч сам сходил во двор посмотреть, отдохнула ли лошадь после вчерашней езды, и велел Зотушке седлать ее.

– Я сам поеду, – прибавил Гордей Евстратыч, похлопывая гнедка по шее.

Последнее настолько удивило Зотушку, что он даже раскрыл рот от удивления. Гордей Евстратыч так редко выезжал из дома – раз или два в год, что составляло целое событие, а тут вдруг точно с печи упал: «Седлай, сам поеду...»
Верхом Гордей Евстратыч не ездил лет десять, а тут вдруг в этакую распутицу, да еще на изморенной лошади, которая еще со вчерашнего не успела отдышаться. Действительно, Гордей Евстратыч был замечательный домосед, и ехать куда-нибудь для него было истинным наказанием, притом он ездил только зимой по удобному санному пути – в Ирбит на ярмарку и в Верхотурье, в гости к сестре Алене. Сборов на такую поездку хватало на целую неделю, а тут на-кася, свернулся в час места... Все эти мысли промелькнули в маленькой головке Зотушки во мгновение ока, и он перебирал их все время, пока седлал гнедка. Куда мог ехать Гордей Евстратыч в такую непогоду?

– Значит, какое-нибудь дело завелось, – решил наконец Зотушка с глубокомысленным видом, когда лошадь была готова.

Татьяна Власьевна была удивлена этой поездкой не менее Зотушки и ждала, что Гордей Евстратыч сам ей скажет, зачем едет в Полдневскую, но он ничего не

говорил.

– Зачем в Полдневскую-то наклеялся? – спросила старуха, когда Гордей Евстратыч начал прощаться.

– Дельце есть маленькое... После, мамынька, все обскажу. Благослови в добрый час съездить.

– Ну, Бог тебя благословит, милушка. А послал бы ты лучше Архипа, чем самому трястись по этакой грязище.

– Нельзя, мамынька. Стороной можно проехать... Михалко сегодня в лавке будет сидеть, а Архипа пошли к Пятовым, должок там за ними был. Надо бы книгу еще подсчитать...

– Подождите с книгой-то, Гордей Евстратыч. У нас теперь своя работа стоит. Нюше к зиме шубку ношобную справляем...

– Обождем, ничего. Да пошли еще, мамынька, Зотушку к Шабалиным.

– Ох, нельзя, милушка! Ведь только он едва успел выправиться, а как попадет к Шабалиным – непременно Вукол Логиныч его водкой поить станет. Уж это сколько разов бывало, и не пересчитаешь!.. Лучше я Архипа спосылаю... По пути и забежит, от Пятовых-то.

– Как знаешь.

Гордей Евстратыч сел в мягкое пастушье седло и, перекрестившись, выехал за ворота. Утро было светлое; в воздухе чувствовалась осенняя крепкая свежесть, которая заставляет барина застегиваться на все пуговицы, а мужика – туже подпоясываться. Гордей Евстратыч поверх толстого драпового пальто надел татарский азым, перехваченный гарусной опояской, и теперь сидел в седле молодцом. Выглянувшая в окно Нюша невольно любовалась, как тятенька ехал по улице.

Нужно было ехать по Старой Кедровской улице, но Гордей Евстратыч повернул лошадь за угол и поехал по Стекольной. Он не хотел, чтобы Пазухины видели

его. Точно так же объехал он рынок, чтобы не встретиться с кем-нибудь из своих торговцев. Только на плотине он попал как кур в ошип: прямо к нему навстречу катился в лакированных дрожжах сам Вукол Логиныч.

«Ох, нелегкая бы тебя взяла!» – подумал про себя Гордей Евстратыч, приподнимая свою суконную фуражку с захватанным козырьком.

Серая в яблоках громадная лошадь, с невероятно выгнутой шеей и с хвостом трубкой, торжественно подкатила Шабалина, который сидел на дрожжах настоящим чертом: в мохнатом дипломате, в какой-то шапочке, сдвинутой на затылок, и с семидесятирублевым зонтиком в руках. Скуластое, красное лицо Вукола Логиныча, с узкими хитрыми глазами и с мясистым носом, все лоснилось от жира, а когда он улыбнулся, из-за толстых губ показались два ряда гнилых зубов.

– Куда Бог несет, Гордей Евстратыч? – издали кричал Шабалин, высоко поднимая свою круглую шапочку. – Я не знал, что ты таким молодцом умеешь верхом ездить... Уж не на охоту ли собрался?

– Какая у нас охота, Вукол Логиныч... – ответил Брагин недовольным тоном: он обиделся глупым вопросом Шабалина, который всегда смеет что-нибудь самое несуразное.

Эта встреча очень не понравилась Гордею Евстратычу, и он, поднимаясь с плотины в гору, на которой красовалась пятиглавая православная церковь, даже подумал, уж не воротиться ли назад. Оглянувшись, Брагин с сожалением посмотрел «за реку», то есть по ту сторону пруда, где тянулась Старая Кедровская улица. С горки отлично можно было рассмотреть старый брагинский дом, который стоял на углу; из одной трубы винтом поднимался синий дым, значит старуха затеяла какую-нибудь стряпню. «На охоту поехал... – припомнил Брагин со злостью слова Шабалина. – Тьфу ты, греховодник... Нашел охотника!..» С другой стороны, Брагину показалось, что действительно у него сегодня такой глупый вид, точно он «ангела потерял», как говорила Татьяна Власьевна про ротозеев. Приосанившись в седле и подтянув поводья, Брагин пустил своего гнедка ходой, чтобы скорее выехать за «жило». Ему пришлось проехать мимо шабалинского дома, и он невольно полюбовался на него. Дом стоял на горе, над прудом, и ярко белел своими пятью колоннами. Эти колонны особенно нравились Брагину, потому что придавали дому настоящий городской вид, как рисуют на картинках. Зеркальные стекла в окнах, золоченая решетка у

балкона между колоннами, мраморные вазы на воротах, усыпанный мелким песочком двор – все было хорошо, форменно, как говорил Зотушка про шабалинский дом.

«А все золото поднимает... – подумал невольно Брагин, щупая лежавшую за пазухой жилку. – Вуколу-то Логинычу красная цена расколотый грош, да и того наприсишься, а вон какую хоромину наладил! Кабы этакое богатство да к настоящим рукам... Сказывают, в одно нонешнее лето заробил он на золоте-то тысяч семьдесят... Вот лошадь-то какая – зверь зверем».

Белоглинский завод, совсем затерявшийся в глуши Уральских гор, принадлежал к самым старинным уральским поселениям, что можно было даже заметить по его наружному виду, то есть по почерневшим старинным домам с высокими коньками и особенно по старой заводской фабрике, поставленной еще в 1736 году. Место под завод было выбрано самое глухое, настоящий медвежий угол: горы, болота, леса; до официального основания заводского действия здесь, с разным лесным зверьем, хоронились одни раскольники, уходившие в уральскую глушь от петровских новшеств. Между прочим, свили они себе гнездо и на берегу глухой горной речонки Белой Глинки, пока их не отыскали подьячие и заводские приказчики. Река была перехвачена плотиной, разлился пруд, и задымилась фабрика. Около пруда рассажались заводские домики, вытянувшись «по плану» в широкие правильные улицы. Теперь Белоглинский завод представлял собой такую картину: во-первых, «заречная» низкая сторона, где, собственно, находилось первоначальное раскольничье поселенье и где теперь проходила Старая Кедровская улица; дома здесь старинные, и люди в них старинные – отчасти раскольники, отчасти единоверцы; во-вторых, «нагорная» сторона, где красовалась православная церковь и хоромины Шабалина. В нагорной жили большею частью православные, позднее этнографическое население. Это деление на «нагорную» и «заречную» стороны продолжалось и ниже заводской фабрики, где Белая Глинка разливалась в низких глинистых берегах. В этой части завода стоял деревянный господский дом с железной крышей, в котором жили Пятовы, и несколько домиков «на городскую руку», выстроенных заводскими служащими. В заречной находилась единственная заводская площадь, в одном конце которой сбились в кучу деревянные лавки, а в другом строилась единоверческая церковь. Старинные семьи, вроде Колобовых, Савиных, Пазухиных и др., все жили в заречной, в крепких старинных домах, в которых на вышках еще сохранились рамы со слюдой вместо стекол. Шабалины жили тоже там, пока Вукол Логиныч не облюбывал себе местечко на нагорной стороне. Это ренегатство очень огорчило всех блюстителей старины вроде Татьяны Власьевны, но Вукол Логиныч был отпетая

башка – и взять с него было нечего.

В солнечный день вид на завод представлял собой довольно пеструю картину и, пожалуй, красивую, если бы не теснившийся со всех сторон лес и подымавшиеся кругом лесистые горы, придававшие всей картине неприветливый траурный характер. Впрочем, так казалось только посторонним людям, а белоглинцы, конечно, не могли даже себе представить чего-нибудь лучше и красивее Белоглинского завода. К таким людям принадлежал и Гордей Брагин, бывавший не только в Ирбите и в Верхотурье, но и в Нижнем.

Дорога в Полдневскую походила на те прямоезжие дороги, о которых поется в былинах: горы, болота, гати и зыбуны точно были нарочно нагромождены, чтобы отбить у всякого охоту проехать по этой дороге во второй раз, особенно осенью, когда лошадь заступает в грязь по колена, вымогаясь из последних сил. Верховом на лошади эти двадцать верст едва можно было проехать в четыре часа. С непривычки к верховой езде Гордей Евстратыч на половине пути почувствовал, как у него отнимается поясница и ноги в стременах начинают деревенеть. А впереди косогор за косогором, гора за горой... Лес стоит кругом темный, настоящий дремучий ельник, которому, кажется, не было конца-краю. Около самой дороги, где лес был немного прочищен, лепились кусты жимолости и малины да молоденькие березки, точно заблудившиеся в этой лесной тущобе; теперь листья уже давно пожелтели и шелестели мертвым шепотом, когда по ним пробегал осенний порывистый ветер. Земля была покрыта шуршавшей под ногой лиственной шелухой, и только кое-где из-под нее пробивались зеленые кустики сохранившейся еще травы, да на опушке леса ярко блестела горькая осина, точно обрызганная золотом и кровью.

Верст не полагалось, и версты отсчитывались по разным приметам: от Белоглинского до Пугиной горы – восемь верст, две версты подался – ключик из косогора бежит, значит – половина дороги, а там через пять верст гарь на левой руке. Брагин почти все время ехал шагом, раздумывая бесконечную дорожную думу, которая блуждала по своим горам и косогорам, тонула в грязи и пробиралась по узким тропинкам. То он видел пред собой Шабалина в его круглой шапочке и начинал ему завидовать; то припоминал разные случаи быстрого обогащения «через это самое золото», как говорил Зотушка; то принимался «сумлеваться», зачем он тащится такую даль; то строил те воздушные замки, без которых не обходятся даже самые прозаические натуры. Что он такое теперь, ежели разобрать? Купец, который торгует панским товаром, – и только. Сыт, одет, ну, копейки про черный день отложены, а чтобы

супротив других из купечества, как в Ирбите, например, собираются, ему, Брагину, далеко не вплоть. А между тем чем он хуже других? Недалеко ходить, хоть взять того же Вукола Логиныча... А с чего человек жить пошел? От пустяков. От такой же жилки, какую он сейчас везет у себя за пазухой. Да... В воображении Брагина уже рисовалась глубокая шахта, из которой бадьями поднимают золотиносный кварц, толкут его и промывают. В результате получилось чистое золото, которое превращается в громадный дом с колоннами, в серых, с яблоками, лошадей, в лакированные дрожки, в дорогое платье и сладкое привольное житье. Первым делом он, конечно, пожертвует в церковь, тайно пожертвует... То-то удивится о. Крискент, когда из кружки добудет несколько радужных. Потом старухе на бедных да на увечных, потом... Все будут ухаживать за Гордеем Евстратычем, как теперь ухаживают за Шабалиным или за другими богатыми золотопромышленниками.

«Прежде гремели на Панютинских заводах золотопромышленники Сиговы да Кутневы», – раздумывал Гордей Евстратыч, припоминая историю уральских богачей.

Сиговым принес жилку один вогул, а Кутневы сами нашли золото, хотя и не совсем чисто. Сказывали, что Кутневы оттягали золотую россыпь у какого-то бедного старателя, который не поживился ничем от своей находки, кроме того разве, что высидел в остроге полгода за свои жалобы на разбогатевших Кутневых. Да, много неправды с этим золотом... Вон про Шабалина рассказывают какие штуки: народ морит работой на своих приисках, не рассчитывает, а попробуй судиться с ним, кому угодно рот заткнет. Мировой судья Липачек ему первый друг и приятель, становой Плинтусов даже спит с ним на одной постели... От этого богатства просто один грех, точно люди всякого «ума решаются». Но ведь это другие, а уж он, Гордей Евстратыч, никогда бы так не сделал. Да... Вон Ньюша на возрасте – ее надо пристраивать за хорошего человека, вон сыновей надо отделять, пока не разорились. Теперь, конечно, все есть, всего в меру, а если разделиться – и пойдут кругом недостатки.

Приободрившаяся лошадь дала знать, что скоро и Полдневская. В течение четырехчасового пути Брагин не встретил ни одной живой души и теперь рад был добраться до места, где бы можно было хоть чаю напиться. Поднявшись на последний косогор, он с удовольствием взглянул на Полдневскую, совсем почти спрятавшуюся на самом дне глубокой горной котловины. Издали едва можно было рассмотреть несколько крыш да две-три избышки, торчавшие особняком,

точно они отползли от деревни.

«Настоящее воронье гнездо эта Полдневская», – невольно подумал Брагин, привставая в стременах.

Полдневская пользовалась действительно не особенно завидной репутацией как притон приисковых рабочих. Не проходило года, чтобы в Полдневской не случилось какой-нибудь оказии: то мертвое тело объявится, то крупное воровство, то сбыт краденого золота, то беглые начнут пошалить. Становой Плинтусов говорил прямо, что Полдневская для него как сухая мозоль – шагу не дает ступить спокойно. Чем существовали обитатели этой деревушки – трудно сказать, и единственным мотивом, могшим несколько оправдать их существование, служили разбросанные около Полдневской прииски, но дело в том, что полдневские не любили работать, предпочитая всему на свете свою свободу. А между тем полдневские мужики не только существовали, но исправно каждое воскресенье являлись в Белоглинский завод, где менялись лошадьми, пьянствовали по кабакам и даже кое-что покупали на рынке, конечно большею частью в долг. К таким птицам небесным принадлежал и старатель Маркушка, давнишний должник Брагина.

Спустившись по глинистому косогору, Гордей Евстратыч вброд переехал мутную речонку Полуденку и, проехав с полверсты мелким осинником, очутился в центре Полдневской, которая состояла всего-навсего из какого-нибудь десятка покосившихся и гнилых изб, поставленных на небольшой поляне в самом живописном беспорядке. Навстречу Брагину выбежало несколько пестрых собак с стоячими ушами, которые набросились на него с таким оглушительным лаем, точно стерегли какие несметные сокровища. В одном окошке мелькнуло женское испитое лицо и быстро скрылось.

– В которой избе живет Маркушка-старатель? – спросил Гордей Евстратыч, постукивая черенком нагайки в окно ближайшей избы.

В окне показалась бородатая голова в шапке; два тусклых глаза безучастно взглянули на Брагина и остановились. Не выпуская изо рта дымившейся трубки с медной цепочкой, голова безмолвно показала глазами направо, где стояла совсем вросшая в землю избенка, точно старый гриб, на который наступили ногой.

– Ну народец!.. – проворчал Гордей Евстратыч, слезая с лошади у Маркушкиной избы.

Архитектурной особенностью полдневских изб было то, что они совсем обходились без ворот, дворов и надворных построек. Ход в избу шел прямо с улицы. Только в виде роскоши кое-где лепились сколоченные на живую нитку крылечки. Где держали полдневцы лошадей – составляло загадку, как и то, чем они кормили этих лошадей и чем они топили свои избы. Гордей Евстратыч окинул строгим хозяйским взглядом всю деревню и нигде не нашел ничего похожего на конюшни или поленницу дров. У некоторых изб валялось по бревну, от которых бабы по утрам отгрызали на подтопку дров, – вот и все. «Ну народец! – еще раз подумал Брагин. – В лесу живут, и ни одного полена не отрубят мужики...»

– Господи Иисусе Христе... – помолитвовался Гордей Евстратыч, отворяя низкую дверь, которая вела куда-то в яму.

– Аминь... – отдал из комнаты чей-то хриплый голос. – Это ты, Гордей Евстратыч?

– Я, Маркушко...

Послышалось тяжелое хрипенье, затем удушливый кашель. Гордей Евстратыч кое-как огляделся кругом: было темно, как в трубе, потому что изба у Маркушки была черная, то есть без трубы, с одной каменкой вместо печи. Вернее такую избу назвать балаганом, какие иногда ставятся охотниками в глухих лесных местах на всякий случай. На каменке тлело суковатое полено, наполнявшее избу удушливым едким дымом. Сам хозяин лежал у стены, на деревянных подмостках, прикрытый сверху лоскутами овчин, когда-то составлявших тулуп или полушубок. На гостя из-под кучи этой рвани глядело восковое отекшее лицо с мутным остановившимся взглядом, в котором едва теплилась последняя искра сознания. Мочального цвета бороденка, рыжие щетинистые усы и прилипшие к широкому лбу русые волосы дополняли портрет старателя Маркушки.

– Ну что, плохо тебе? – спрашивал Брагин, напрасно отыскивая глазами что-нибудь, на что можно было бы сесть.

Куча тряпья зашевелилась, раздался тот же кашель.

– Надо... надо... больно мне тебя надо, Гордей Евстратыч, – отозвалась голова Маркушки. – Думал, не доживу... спасибо после скажешь Маркушке... Ох, смерть моя пришла, Гордей Евстратыч!

– Надо за попом послать?

– Где уж... нет... вот уж я тебе все обскажу...

Гордей Евстратыч подкатил к дымившейся каменке какой-то чурбан и приготовился выслушать предсмертную исповедь старателя Маркушки, самого отчаянного из всех обывателей Полдневской.

– Видел жилку-то? – глухо спросил Маркушка, удерживая душивший его кашель.

– Видел...

– Ведь пятнадцать лет ее берег, Гордей Евстратыч... да... пуще глазу своего берег... Ну, да что об этом толковать!.. Вот что я тебе скажу... Человека я порешил... штегеря, давно это было... Вот он, штегерь-то, и стоит теперь над моей душой... да... думал отмолить, а тут смерть пришла... ну, я тебя и вспомнил... Видел жилку? Но богатство... озолочу тебя, только по гроб своей жизни отмаливай мой грех... и старуху свою заставь... в скиты посылай...

Опять приступ отчаянного кашля, точно Маркушка откашливал всю душу вместе с своими грехами.

– Так ты поклянешься мне, Гордей Евстратыч, и я тебе жилку укажу и научу, что с ней делать... Мне только и надо, чтобы мою душу отмолить.

– А ежели ты обманешь, Маркушка?

– Нет, Гордей Евстратыч... Ох, тошнехонько!.. нет, не обману... Не для тебя соблюдал местечко, а для себя... Ну, так поклянешься?

Брагин на минуту задумался. Его брало сомнение, притом он не ожидал именно такого оборота дела. С другой стороны, в этой клятве ничего худого нет.

– Ладно, поклянусь...

– Исусовой молитвой поклянись!

– Нет, Исусовой молитвой не буду, а так поклянусь... Мы за всех обязаны молиться, а если ты мне добро сделаешь – так о тебе особая и молитва.

– Думал я про Шабалина... – заговорил Маркушка после тяжелой паузы. – Он бы икону снял со стены... да я-то ему, кровопивцу, не поверю... тоже вот и другим... А тебя я давно знаю, Гордей Евстратыч... особенно твою мамыньку, Татьяну Власьевну... ее-то молитва доходнее к Богу... да. Так ты не хочешь Исусовой молитвой себя обязать?

– Нет, Маркушка, это грешно... Хоть у кого спроси.

Больной недоверчиво посмотрел на своего собеседника, потому что все его богословские познания ограничились одной Исусовой молитвой, запавшей в эту грешную душу, как падает зерно на каменную почву. После некоторых препирательств Маркушка согласился на простую клятву и жадными глазами смотрел на Гордея Евстратыча, который, подняв кверху два пальца, «обещавался» перед Богом отмаливать все грехи раба Божия Марка вплоть до своей кончины и далее, если у него останутся в живых дети. Восковое лицо покрылось пятнами пота от напряженного внимания, и он долго лежал с закрытыми глазами, прежде чем получил возможность говорить.

– Ну, слушай, Гордей Евстратыч... Робили мы, пятнадцать годов тому назад, у купцов Девяткиных... шахту били... много они денег просадили на нее... я ходил у них за штегеря... на восемнадцатом аршине напали на жилку... а я сказал, что дальше незачем рыть... От всех скрыл... ну, поверили, шахту и бросили... Из нее я тебе жилку с Михалком послал...

– Отчего же ты сам не разрабатывал эту шахту, ведь Девяткины давно вымерли?

– Нельзя было... по малости ковырял, а чтобы настоящим делом – сила не брала, Гордей Евстратыч. Нашему брату несподручное дело с такой жилкой возиться... надо капитал... с начальством надо ладить... А кто мне поверит? Продать не хотелось: я по малости все-таки выковыривал из-под нее, а что мне дали бы... пустяк... Шабалин обещал двадцать целковых.

– Да ведь и мне настоящую жилку не дадут разрабатывать? – заметил Брагин, слушавший эту исповедь с побледневшим лицом.

– Не надо объявлять настоящей жилки, Гордей Евстратыч... а как Шабалин делает... россыпью объяви... а в кварце, мол, золото попадает только гнездами... это можно... на это и закона нет... уж я это знаю... ну надо замазать рты левизорам да инженерам... под Шабалина подражай...

– Хорошо, там увидим... Ты расскажи, где жилку-то искать?

– А вот как ее искать... Ступай по нашей Полуденке кверху... верстах в пяти в нее падает речка Смородинка... по Смородинке подашься тоже кверху, а в самой верхотине стоит гора Заразная... от Смородинки возьми на Заразную... тут пойдет увал... два кедра увидишь... тут тебе и жилка...

Гордей Евстратыч был бледен как полотно; он смотрел на отекавшее лицо Маркушки страшными, дикими глазами, выжидая, не вырвется ли еще какое-нибудь признание из этих посиневших и растрескавшихся губ. Но Маркушка умолк и лежал с закрытыми глазами как мертвый, только тряпье на подмостках продолжало с хрипом подниматься неровными взмахами, точно под ним судорожно билась ослабевшими крыльями смертельно раненная птица.

– Все? – спрашивал Брагин, наклоняясь к самому изголовью больного.

– Все... ах, еще вот что, Гордей Евстратыч... угости, ради Христа, водочкой наших-то... пусть погуляют...

Через полчаса в яме Маркушки собралось почти все население Полдневской, состоявшее из трех мужиков, двух баб и нескольких ребятишек. Знакомый уже нам мужик в шапке, потом высокий рыжий детина с оловянными глазами, потом кривой на левый глаз и хромой на правую ногу низенький мужичонка; остальные представители мужского населения находились в отсутствии. Две женщины, одетые в полинялые ситцевые сарафаны, походили на те монеты, которые вследствие долгого употребления утратили всякие следы своего чекана. Испитые, желтые, с одичавшим взглядом физиономии были украшены одними синяками; у одной такой синяк сидел под глазом, у другой на виске. Очевидно, эти украшения были сделаны опытной рукой, не знавшей промаха. Вообще

физиономии обеих женщин были покрыты массой белых царапин и шрамами самой причудливой формы, точно они были татуированы или расписаны какими-то не разгаданными еще наукой иероглифами.

– Славные ребята... – умилился Маркушка, любуясь собравшейся компанией. – Ты, Гордей Евстратыч, когда угости их водочкой... пусть не поминают лихом Маркушку... Так ведь, Окся?

Окся застенчиво посмотрела на свои громадные красные руки и хрипло проговорила:

– Тебе бы выпить самому-то, Маркушка... Может, облегчит...

Маркушка болезненно мотнул головой на эту ласку... Ведь эта шельма Окся всегда была настоящим яблоком раздора для полдневских старателей, и из-за нее происходили самые ожесточенные побоища: Маркушку тузил за Оксю и рыжий детина с оловянными глазами, и молчаливый мужик в шапке, и хромой мужичонка, точно так же как и он, Маркушка, тузил их всех при удобном случае, а все они колотили Оксю за ее изменчивое сердце и неискоренимую страсть к красным платкам и козловым ботинкам. Эта коварная женщина была замечательно непостоянное существо и как-то всегда была на стороне того, кому везло счастье. Теперь она от души жалела умиравшего Маркушку, потому что он уносил с собой в могилу не одни ботинки...

– Как же это вы живете здесь, – удивлялся Брагин, угощая собравшуюся компанию, – хлеба у вас нет, дров нет, а водка всегда есть...

– Нам невозможно без водки... – отрезал кривой мужичонко. – Так ведь, Кайло? Вот и Пестерь то же самое скажет...

Кайло – рыжий детина с оловянными глазами – и Пестерь – мужик в шапке – в знак своего согласия только поникли своими головами. Окся поощрительно улыбнулась оратору и толкнула локтем другую женщину, которая была известна на приисках под именем Лапухи, сокращенное от Олимпиады; они очень любили друг друга, за исключением тех случаев, когда козловые ботинки и кумачные платки настолько быстро охлаждали эту дружбу, что бедным женщинам ничего не оставалось, как только вцепиться друг в друга и зубами и ногтями и с визгом кататься по земле до тех пор, пока чья-нибудь благодетельная рука не

отрезвляла их обеих хорошим подзатыльником или артистической встряской за волосы. Около Лапухи жалось странное существо: на вид это была девочка лет двенадцати, еще с несложившимися, детскими формами, с угловатой спиной и тонкими босыми ногами, но желтое усталое лицо с карими глазами смотрело не по-детски откровенно, как смотрят только отведавшие от древа познания добра и зла.

- На, пей, Домашка... - говорила Лапуха, передавая Домашке недопитый стакан водки.

- Зачем ты ее поишь? - спросил Гордей Евстратыч.

- Да ведь Домашка-то мне, поди, дочь! - удивленно ответила в свою очередь чадолюбивая Лапуха.

- Домашка у нас молодец... - отозвался с своего ложа Маркушка. - Налей и ей стаканчик, Гордей Евстратыч... ей тоже без водки-то невозможно...

Пестерь и Кайло покосились на разнежившегося Маркушку, но промолчали, потому что водка была Гордея Евстратыча, а право собственности в этой жидкой форме для них было всегда священным. Домашка выпила налитый стаканчик и кокетливо вытерла свои детские губы худой голой рукой с грязным локтем, выглядывавшим в прореху заношенной ситцевой рубахи. Роспитая четверть водки скоро заметно оживила все общество, особенно баб, которые сидели с осоловелыми глазами и заметно были расположены затянуть какую-нибудь бесшабашную приисковую песню. Домашка хихикала без всякой видимой причины и тут же закрывала свое лицо порванным рукавом рубахи. Кайло и кривой мужичонко, которого звали Потапычем, тоже повеселели и все упрашивали благодетеля Маркушку в качестве всеисцеляющего средства выпить хоть стаканчик; но груда тряпья, изображавшая теперь знаменитого питуха, только отрицательно вздрагивала всеми своими лоскутьями. Один Пестерь делался все мрачнее и мрачнее, а когда бабы не вытерпели и заголосили какую-то безобразную пьяную песню, он, не выпуская изо рта своей трубки с медной цепочкой, процедил только одно слово: «У... язвы!..» Кто бы мог подумать, что этот свирепый субъект являлся самым живым источником козловых ботинок и кумачных платков, в чем убедилась личным опытом даже Домашка, всего третьего дня получившая от Пестеря зеленые стеклянные бусы.

– Так уж ты тово... не забывай их... – хрипел Маркушка, показывая глазами на пьяных старателей, когда Брагин начал прощаться.

О себе Маркушка не заботился: ему больше ничего было не нужно, кроме «доходной к Богу» молитвы Татьяны Власьевны.

IV

Вернувшись домой, Гордей Евстратыч, после обычного в таких случаях чаепития, позвал Татьяну Власьевну за собой в горницу. Старуха по лицу сына заметила, что случилось что-то важное, но что именно – она никак не могла разгадать.

– Ты спрашивала меня, мамынька, зачем я поехал в Полдневскую, – заговорил Гордей Евстратыч, припирая за собой дверь. – Вот, погляди, какую игрушку добыл...

С последними словами он подал матери кусок кварца, который привез еще Михалко. Старуха нерешительно взяла в руку «игрушку» и, отнеся далеко от глаз, долго и внимательно рассматривала к свету.

– Никак золото... – недовольным голосом заметила она, осторожно передавая кусок кварца обратно.

– Да, мамынька... настоящее червонное золото, – уже шепотом проговорил Гордей Евстратыч, оглядываясь кругом. – Бог его нам послал... видно, за родительские молитвы.

– Что-то невдомек мне будет, милушка.

Гордей Евстратыч рассказал всю историю лежавшего на столе кварца: как его привез Михалко, как он не давал спать целую ночь Гордею Евстратычу, и Гордей Евстратыч гонял в Полдневскую и что там видел.

– Вот поклялся-то напрасно, милушка... – строго проговорила старуха, подбирая губы. – Этакое дело начинать бы да не с клятвы, а с молитвы.

– Ах, мамычка, мамычка! Ну, ежели бы я не поклялся Маркушке, – тогда что бы вышло? Умер бы он с своей жилкой или рассказал о ней кому-нибудь другому... Вон Вукол-то Логиныч уже прослышал о ней и подсылал к Маркушке, да только Маркушка не захотел ему продавать.

– Ишь ведь какой дошлый, этот Вуколко! – со злостью заговорила Татьяна Власьевна, припоминая семидесятирублевый зонтик Шабалина. – Уж успел пронюхать... Да ты верно знаешь, милушка, что Маркушка ничего не говорил Вуколу?

– Вернее смерти, потому – Маркушка сам мне говорил...

– А вот ты сам-то небось не догадался заставить Маркушку тоже клятву на себя наложить? Как он вдруг да кому-нибудь другому перепродаст жилку... тому же Вуколу.

– Нет, мамынька... Маркушка-то в лежку лежит, того гляди, Богу душу отдаст. Надо только скорее заявку сделать на эту самую жилку, и кончено...

– Как же это так вдруг, милушка... – опять нерешительно заговорила Татьяна Власьевна. – Как будто даже страшно: всё торговали, как другие, а тут золото искать... Сколько на этом золоте народишку разорилось, хоть тех же Кутневых взять.

– А у Вукола вон какой домина схлопан – небось, не от бедности! Я ехал мимо-то, так загляденье, а не дом. Чем мы хуже других, мамынька, ежели нам Господь за родительские молитвы счастье посылает... Тоже и насчет Маркушки мы все справим по-настоящему, неугасимую в скиты закажем, сорокоусты по единоверческим церквам, милостыню нищей братии, ну, и ты кануны будешь говорить. Грешный человек, а душа-то в нем христианская. Вот и будем замаливать его грехи...

– Уж это что говорить, милушка... Вукол-то не стал бы молиться за него. Только все-таки страшно... И молитва там, и милостыня, и сорокоуст – все бы ничего, а как подумаю об золоте, точно что у меня оборвется. Вдруг-то страшно очень...

– Ну, тогда пусть Вуколу достается наша жилка, – с сдержанной обидой в голосе заговорил Гордей Евстратыч, начиная ходить по своей горнице неровными шагами. – Ему небось ничего не страшно... Все слопают. Вон лошадь у него какая: зверина, а не лошадь. Ну, ему и наша жилка к рукам подойдет.

– Да разве я говорю, что жилку Вуколу отдать? – тоже с раздражением в голосе заговорила старуха, выпрямляясь. – Надо подумать, посоветоваться.

– С кем же это, мамынька, советоваться-то будем? Сами не маленькие, слава богу, не двух по третьему...

– С отцом Крискентом надо поговорить, потом с Савиными, с Колобовыми.

– Ну уж, мамынька, этого не будет, чтобы я с Савиными да с Колобовыми стал советоваться в таком деле. С отцом Крискентом можно побеседовать, только он по этой части не ходок...

Старшая невестка, Ариша, была колобовской «природы», а младшая, Дуня, – савиновской, поэтому Татьяну Власьевну немного задело за живое то пренебрежение, с каким Гордей Евстратыч отнесся к своей богоданной родне, точно он боялся, что Колобовы и Савины отнимут у него проклятую жилку. Взаимное раздражение мешало сторонам понимать друг друга, и каждый думал только о том, что он прав. «Старик-то Колобов, Самойло-то Микеич, вон какой голова, – рассуждала про себя Татьяна Власьевна. – Недаром два раза в волостных старшинах сидел... Тоже и Кондрат Гаврилыч Савин уважительный человек, а про старуху Матрену Ильинишну и говорить нечего: с преосвященным владыкой в третьем годе как пошла отчитывать по Писанию, только на, слушай. Чем не родня». Гордей Евстратыч ходил из угла в угол по горнице с недовольным, надутым лицом; ему не нравилось, что старуха отнеслась как будто с недоверием к его жилке, хотя, с другой стороны, ему было бы так же неприятно, если бы она сразу согласилась с ним, не обсудив дела со всех сторон. Одним словом, в результате получалось какое-то тяжелое недоразумение, благодаря которому Гордей Евстратыч ни за что ни про что обидел своих сватовьев, Савиных и Колобовых, и теперь сердился еще больше, потому что сам был виноват кругом. Татьяна Власьевна пришла в себя скорее сына и, взглянув на него пытливо, решительно проговорила:

– А я вот что тебе скажу, милушка... Жили мы, благодарение Господу, в достатке, все у нас есть, люди нас не обегают: чего еще нам нужно? Вот ты еще только успел привезти эту жилку в дом, как сейчас и начал вздорить... Разве это порядок? Мать я тебе или нет? Какие ты слова с матерью начал разговаривать? А все это от твоей жилки... Погляди-ко, ты остребенился на сватьев-то... Я своим умом так разумею, что твой Маркушка колдун, и больше ничего. Осиновым колом его надо отмаливать, а не сорокоустом...

– Мамынька, ради Христа, прости меня дурака... – взмолился опомнившийся Гордей Евстратыч, кланяясь старухе в ноги. – Это я так... дурость нашла.

– Надо повременить, Гордей Евстратыч.

– Как знаешь, мамынька. И Маркушка про тебя говорил, что на твою молитву надеется...

– Ну, это уж он напрасно: какие наши молитвы. Сами по колено бродим в своих-то грехах.

Обдумывая все случившееся наедине, Татьяна Власьевна то решала про себя бросить эту треклятую жилку, то опять жалела ее, представляя себе Шабалина с семидесятирублевым зонтиком в руках. В ее старой, крепкой душе боролись самые противоположные чувства и мысли, которые утомляли ее больше, чем ночная работа с кирпичами, потому что от них не было блаженного отдыха, не было того покоя, какой она испытывала после ночного подвига. Вечером Татьяна Власьевна напрасно молилась в своей комнате с особенным усердием, чтобы отогнать от себя тревожное настроение. Она чувствовала только, что с ней самой творится что-то странное, точно она сама не своя сделалась и теряла всякую волю над собой. Такое состояние продолжалось дня два, так что, удрученная нежданно свалившейся на ее плечи заботой, Татьяна Власьевна чуть не заболела, пока не догадалась сходить к о. Крискенту, к своему главному советнику во всех особенно трудных случаях жизни. В качестве духовника о. Крискент пользовался неограниченной доверенностью Татьяны Власьевны, у которой от него не было тайн.

Славный домик был у о. Крискента. Он выходил в Гнилой переулок, как мы уже знаем из предыдущего, и от брагинского дома до него было рукой подать. Наружный вид поповского дома невольно манил к себе своей патриархальной

простотой; его небольшие окна глядели на Гнилой переулок с таким добродушным видом, точно приглашали всякого непременно зайти к милому старичку о. Крискенту, у которого всегда были в запасе такие отличные наливки. Калитка вела на маленький двор с деревянным полом и уютно поставленными службами; выкрашенное зеленой краской крыльцо вело в сени, где всегда были настланы чистые половики. В маленькой передней уже обдавало тем специально благочестивым запахом, какой священники уносят с собой из церкви в складках платья; пахло смешанным запахом ладана и воска, и, может быть, к этому примешивался аромат княженичной наливки, которою о. Крискент гордился в особенности.

– А... дорогая гостья! Сколько лет, сколько зим не видались, – приветствовал радостно о. Крискент, встречая гостью в уютной чистенькой гостиной, походившей на приемную какой-нибудь настоятельницы монастыря.

Стены были выкрашены зеленым купоросом; с потолка спускалась бронзовая люстра с гранеными стеклышками. На полу лежали мягкие тропинки. Венские стулья, два ломберных стола, несколько благочестивых гравюр на стенах и китайский розан в зеленой кадучке дополняли картину. Сам о. Крискент – низенький, юркий старичок, с жиденькими косицами и тоненьким разбитым тенорком, – принадлежал к симпатичнейшим представителям того типа батюшек, который специально выработался на уральских горных заводах, где священники обеспечены известным жалованьем, а потом возвращаются в более развитой среде, чем простые деревенские попы. Ходил о. Крискент маленькими торопливыми шажками, неожиданно повертывался на каблуках и имел странную привычку постоянно расстегивать и застегивать пуговицы своего подрясника, отчего петли обнашивались вдвое скорее, чем бы это следовало. Маленькая головка о. Крискента, украшенная редкими волосиками с проседью и таковой же бородкой, глядела кругом пронизательными темными глазками, которые постоянно улыбались, – особенно когда из гортани о. Крискента вырывался короткий неопределенный смешок. Сам по себе батюшка был ни толст, ни тонок, а так себе – середка на половине. Жил он в своем домике старым бездетным вдовцом, каких немало попадаетея среди нашего духовенства. Тот запас семейных инстинктов, которыми природа снабдила о. Крискента, он всецело посвятил своей пастве, ее семейным делам, разным напастям и невзгодам интимного характера. Благочестивые старушки вроде Татьяны Власьевны очень любили иногда завернуть к о. Крискенту и покалякать со стариком от свободы о разных сомнительных предметах, тем более что о. Крискент в совершенстве владел даром разговаривать с женщинами. Он никогда не употреблял резких выражений, как это иногда делают слишком горячие

ревнители-священники, когда дело коснется большого греха, но вместе с тем он и не умалял проступка; затем он всегда умел вовремя согласиться – это тоже немаловажное достоинство. Наконец, вообще в о. Крискенте привлекал неотразимо к себе тот дух общего примирения и незлобия, какой так обаятельно действует на женщин: они уходили из его домика успокоенные и довольные, хотя, собственно, о. Крискент никогда ничего не говорил нового, а только соглашался и успокаивал уже одним своим видом. Роль этого добродушного человека, в сущности, сводилась к тому, что он, как некоторые механические приспособления, собственной особой устранял и смягчал разные неизбежные житейские столкновения, углы и диссонансы.

– Садитесь, Татьяна Власьевна... Ну, как вы поживаете? – говорил о. Крискент, усаживая свою гостью на маленький диванчик, обитый зеленым репсом. – Все к вам собираюсь, да как-то руки не доходят... Гордея-то Евстратыча частенько вижу в церкви.

– А я пришла к вам по делу, отец Крискент... – заговорила Татьяна Власьевна, поправляя около ног свой кубовый сарафан. – И такое дело, такое дело вышло – дня два сама не своя ходила. Просто места не могу себе найти нигде.

– Так, так... Конечно, бывают случаи, Татьяна Власьевна, – мягко соглашался о. Крискент, расправляя свою бородку веером. – Человек предполагает – Бог располагает. Это уж не от нас, а свыше. Мы с своей стороны должны претерпевать и претерпевать... Как сказал апостол: «Претерпевый до конца, той спасен будет...» Именно!

Поместившись в другом углу дивана, о. Крискент внимательно выслушал все, что ему рассказала Татьяна Власьевна, выкладывая свои сомнения в этой маленькой комнатке всегда с особенной охотой, испытывая приятное чувство облегчения, как человек, который сбрасывает с плеч тяжелую ношу.

– Чего же вы хотите, то есть, собственно, что вас смущает? – спрашивал о. Крискент, когда Татьяна Власьевна рассказала все, что сама знала о жилке и о своем последнем разговоре с сыном.

– Я боюсь, отец Крискент... Сама не знаю, чего боюсь, а так страшно делается, так страшно. Как-то оно вдруг все вышло...

– Так, так... Конечно, богатство – источник многих злоключений... особенно при наших слабостях, но, с другой стороны, Татьяна Власьевна, на богатство можно смотреть с евангельской точки зрения. Припомните евангельскую притчу о рабе, получившем десять талантов и приумножившем оные? Не так ли мы должны поступать? Если даже человек, который «зле приобретох, по добре расточих», примет свою часть в Царствии Небесном, тем паче войдут в него добре потрудившиеся на ниве Господней... Я лично смотрю на богатство как на испытание.

Добрый старик говорил битый час на эту благодарную тему, причем опровергал несколько раз свои же доводы, повторялся, объяснял и снова запутывался в благочестивых дебрях красноречия. Такие душеспасительные разговоры, уснащенные текстами Священного Писания, производили на слушательниц о. Крискента необыкновенно успокаивающее действие, объясняя им непонятное и точно преисполняя их той благодатью, носителем которой являлся в их глазах о. Крискент.

– А зачем Гордей-то Евстратыч так остребенился на меня, как только мы заговорили об этой жилке? – спрашивала Татьяна Власьевна, по своей женской слабости постоянно возвращавшаяся от самых возвышенных умозрений к заботам и мелочам моря житейского. – Это от одного разговору, отец Крискент! А что будет, ежели и в самом-то деле эта жилка богатая окажется... Сумлеваюсь я очень насчет этих полдневских и насчет Маркушки особливо сумлеваюсь. Самый был потерянный человек и вдруг накинул на себя этокое благочестие... Может, на жилке-то заклятье какое наложено, отец Крискент?..

– Ах, уж это вы даже совсем напрасно, Татьяна Власьевна: на золоте не может быть никакого заклятья, потому что это плод земли, а Бог велел ей служить человеку на пользу... Вот она и служит, Татьяна Власьевна! Только каждому своя часть, и всякий должен быть доволен своей частью... Да!..

Специально в денежных делах о. Крискент отличался особенной мягкостью и податливостью, а тут выпадало такое редкое, единственное в своем роде счастье. Рядом с теоретическими построениями в голове о. Крискента вырастали самые практические соображения: разбогатеет Гордей Евстратыч, тогда его можно будет выбрать церковным старостой, и он, конечно, от щедрот своих и послужит. Вот кончат стены в новой церкви, нужно будет иконостас заводить, ризницу подновлять – да мало ли расходов найдется!.. Эти мысли подкрепляли о. Крискента все больше и больше, и он возвысился до настоящего красноречия,

когда принялся доказывать Татьяне Власьевне, что она даже не вправе отказываться от посылаемого самим Богом богатства.

- Пути Божии неисповедимы, Татьяна Власьевна.

- Мне опять то в голову приходит, отец Крискент, - говорила в раздумье Татьяна Власьевна, - если это богатство действительно посылает Бог, то неужели не нашлось людей лучше нас?.. Мало ли бедных, милостивцев, отшельников...

- Татьяна Власьевна, Татьяна Власьевна... Так нельзя рассуждать. Разве мы можем своим слабым умом проникать в планы и намерения Божии? Что такое человек? Персть, прах... Да. Еще раз повторяю: нужно покоряться и претерпевать, а не мудрствовать и возвышаться прегордым умом.

Впрочем, на прощанье, когда о. Крискент провожал Татьяну Власьевну в переднюю, он переменял тон и заговорил о тленности всего земного и человеческой гордости, об искушениях врага человеческого рода и слабости человека.

- Так, по-вашему, отец Крискент, лучше отказаться от жилки? - переводила на свой язык Татьяна Власьевна высокоумствования батюшки.

- О нет, я этого не сказал, как не сказал и того, что нужно брать жилку...

- Что же нам теперь делать?

Отец Крискент только развел руками, что можно было истолковать как угодно. Но именно последние-то тирады батюшки, которые как будто клонились к тому, чтобы отказаться от жилки, собственно, и убедили Татьяну Власьевну в необходимости «покориться неисповедимым судьбам Промысла», то есть в данном случае взять на себя Маркушкину жилку, пока Вукол Логиныч или кто другой не перехватил ее.

- Заметьте, Татьяна Власьевна, я не говорил: «берите жилку» и не говорил - «откажитесь»... - ораторствовал батюшка, в последний раз с необыкновенной быстротой расстегивая и застегивая аметистовые пуговицы своего камлотового подрясника. - Ужо как-нибудь пошлите ко мне Гордея-то Евстратыча, так мы

покалякаем с ним по малости. Ну а как ваша молодайка, Дуня?

– Слава богу, отец Крискент, слава богу... Скромная да тихая, воды не замутит, только, кажется, ленивенькая, Христос с ней, Богородица... Ну, да обойдется помаленьку. Ариша, та уж очень бойка была, а тоже уходилась, как Степушку Бог послал.

– Слава богу, слава богу... – повторял о. Крискент, как эхо.

Но Гордей Евстратыч не пошел к о. Крискенту, как его ни упрашивала об этом Татьяна Власьевна. Для окончательного решения вопроса о жилке был составлен небольшой семейный совет, в котором пригласили принять участие и Зотушку. В исключительных случаях это всегда делалось, потому что такой порядок был заведен исстари. Зотушка являлся в «горнице» с смиренным видом, садился в уголок и смиренно выслушивал, как набольшие умные речи разговаривают. Настоящий совет состоял из трех лиц: Татьяна Власьевна, Гордей Евстратыч и Зотей Евстратыч. Зотушка хотя и был пьяница, но и у него ум-то не телята отжевали, притом своя кровь.

– Так вот, Зотей, какое дело-то выходит, – говорил Гордей Евстратыч, рассказав все обстоятельства по порядку. – Как ты думаешь, брать жилку или не брать?

Зотушка разгладил свои косицы на макушке, вытянул шею и ответил:

– А по моему глупому разуму, Гордей Евстратыч, неладное вы затеяли... Вот что!.. Жили, слава богу, и без жилки, проживем и теперь... От этого золота один грех...

Никто не ожидал такого протеста со стороны Зотушки, и большаки совсем онемели от изумления. Как, какой-нибудь пропоец Зотушка и вдруг начинает выговаривать поперечные слова!.. Этот совет закончился позорным изгнанием Зотушки, потому что он решительно ничего не понимал в важных делах, и решение состоялось без него. Татьяна Власьевна больше не сумлевалась, потому что о. Крискент прямо сказал и т. д.

– Только поскорее... – торопила теперь старуха. – Как бы Вукол-то не заграбастал нашу жилку...

На Урале завод Белоглинский славился как один из самых старинных заводов, на котором еще уцелели такие фамилии, как Колобовы, Савины, Шабалины и т. д. Это были крепкие семьи старинного покроя; они могли сохраниться в полной неприкосновенности только в такой уральской глуши, куда был заброшен Белоглинский завод. Раскол здесь свил себе теплое гнездо, и австрийские архиереи особенно любили Белую Глинку, где всегда находили самый радушный прием и могли скрываться от «ревности» полиции и православных миссионеров. Отсюда вышли все эти Кутневы, Сиговы и Девяткины, которые прославились своим богатством и широкой жизнью; отсюда же брали невест, чтобы освежить вырождавшиеся семьи столичных купеческих фирм. Слава белоглинских красавиц-староверок гремела далеко, и гремела недаром: невесты были на подбор – высокие, белые, толстые, глазастые, как те племенные телки, которые «идут только на охотника». У Колобовых были две дочери, кроме Ариши, и обе вышли за купцов в Нижний; у Савиных, кроме Дуни, была дочь за рыбинским купцом-миллионером; Груня Пятова в Москву вышла, Настя Шабалина в Сарапуль... У этих Шабалиных был настоящий куст из невест, да из каких невест – все купечество о них говорило на Ирбитской, в Нижнем, в Крестах. Все разошлись по рукам, а дома не осталось никого даже на поглядочку. Савины да Колобовы, те догадались – по одной дочке оставили на своих глазах, то есть выдали за брагинских ребят. Брагинская семья тоже была настоящая семья, хотя и не из богатых. Но важно было то, что хоть одна дочь на глазах; не ровен час, попритчилось что старикам, так есть кому глаза закрыть. Ни Михалке Брагину, ни Архипу в жисть свою не видать бы как своих ушей таких красавиц-жен, ежели бы не был такой стариковский расчет да не пользовалась бы Татьяна Власьевна всеобщим почетом за свою чисто иноческую жизнь.

– Мы этих на племя оставили, – шутили старики Колобовы и Савины, – а то растим-растим девок, глядишь, всех и расхватали в разные стороны... Этак, пожалуй, всю нашу белоглинскую природу переведут до конца!

Теперь из завидных белоглинских невест оставались только Феня Пятова, да Нюша Брагина, да еще у Шабалиных, у брата Вукола Логиныча, подрастала разная детвора, так как там начинали выравниваться три девчонки.

Таков был Белоглинский завод, и недаром гордились им белоглинцы, крепко держась за свои стародавние уставы и житейские «свычай». Жили крепко, по-старинному, до новшеств было мало охотников, а на таких отщепенцев, как Вукол Логиныч, смотрели как на людей совсем пропащих. Были и такие примеры: завертится человек, глядишь – и пропал. Хоть взять тех же Кутневых и Девяткиных – весь род пошел на перевод, потому что захотели жить по-новому, по-модному. Белоглинцы были глубоко предубеждены против «прелестей» новой модной жизни, которая уже поглотила многих.

Мы уже сказали, что семья Брагиных была не из богатых, потому что торговля «панским товаром» особенно больших выгод не могла доставить сравнительно с другими отраслями торговли. Слабое место заключалось в известной моде на известные товары, которая проникла и в Белоглинский завод. Белоглинские бабы разбирали нарасхват то кумачи, то кубовые ситцы, то какой-то «немецкий узор» и ни за что не хотели покупать никаких других, являлись остатки и целые штуки, вышедшие совсем из моды, которые и гнили на верхних полках, терпеливо ожидая моды на себя или неприхотливых покупателей. Впрочем, и на эту «браковку» был сбыт, хотя довольно рискованный, именно этот завалившийся товар пускали в долг по деревням, где влияние моды чувствовалось не в такой степени, как в Белоглинском заводе. Такими покупателями, между прочим, являлись все приисковые, и в том числе, конечно, обитатели Полдневской на первом плане.

– Уж брошу же я эти панские товары! – в сотый раз говорил Гордей Евстратыч, когда в конце торгового года с Ньюшей «сводил книгу», то есть подсчитывал общий ход своих торговых операций. – Просто житья не стало... Эти проклятые бабенки точно белены объедятся: подавай им желтого, да еще не желтого, а «ранжевого». А куда я с другим товаром денусь? Ведь за него не щепки, а деньги давали. Ничего не сообразишь с этими бабами. То ли дело хлебом или железом торговать: всегда одна мода и остатков да обрезков не полагается. Вот уж брошу эту панскую торговлю да займусь хлебом. Вон Пазухины живут себе как у Христа за пазухой, не принимают от баб муки мученической.

– Тоже и с хлебом всяко бывает, – степенно заметит Татьяна Власьевна. – Один год мучка-то ржаная стоит полтина за пуд, а в другой и полтора целковых отдашь... Не вдруг приноровишься. Пазухины-то в том году купили этак же дорогого хлеба, а цена-то и спала... Четыреста рубликов из кармана.

– А все-таки, мамынька, я брошу этот панский товар.

Но все в брагинском доме отлично знали, что Гордею Евстратычу не расстаться с панской торговлей, потому что эта торговля батюшкой Евстратом Евстратычем ставилась, а против батюшки Гордей Евстратыч не мог ни в чем идти. «Батюшко говорил», «батюшко велел», «батюшко наказывал» – это было своего рода законом для всего брагинского дома, а Гордей Евстратыч резюмировал все это одной фразой: «Поколь жив, из батюшкиной воли не выйду». И действительно, все в брагинском доме творилось в том самом виде, как было при батюшке Евстрате Евстратыче. Покрой платья, кушанья, взаимные отношения, семейные праздники, торговля, привычки, поверья – все оставалось в том виде, в каком осталось от батюшки. Это был целый культ предкам в лице одного батюшки. Так, посредине дома стояла громадная «батюшкина печь» величиною с целую комнату; ее топили особенными полторааршинными дровами, причем она страшно накаливалась и грозила в одно прекрасное утро пустить на ветер весь батюшков дом. Все уговаривали Гордея Евстратыча переделать эту печь и поставить на ее место обыкновенную кухонную, а затем другую, «голанку», – и места бы много очистилось, да и дров пошло бы вдвое меньше.

– В самом деле, Гордей Евстратыч, – уговаривал упрямого старика даже о. Крискент, – вот у меня на целый дом всего две маленьких печи – и тепло, как в бане. Вот бы вам...

– Это батюшкову-то печь ломать? – изумлялся каждый раз Гордей Евстратыч. – Что вы, что вы, отец Крискент... Нет, этому не бывать, потому что такая печь – батюшка-то сам ее ставил. Теперь мне пятьдесят три года, а я еще ни одного кирпича в ней не поправлял. Разве нынче умеют такие кирпичи делать? Вон у вас на церковь делают кирпичи: весу в нем четыре фунта, а пальцем до него дотронулся – он сам и крошится, как сухарь. А батюшкины кирпичи по двенадцати фунтиков каждый и точно вылитые из чугуна... Нет, я батюшкиной печи не потрону, отец Крискент. Вот умру, тогда дети, ежели захотят умнее отца быть, пусть ломают батюшкову печь...

– Да, оно, конечно... пожалуй... нынешние кирпичи ничего не стоят, – соглашался о. Крискент.

Сам Гордей Евстратыч походил на двенадцатифунтовый кирпич из батюшковой печи: он так же крепко выдерживал все житейские передряги, соблазны и напасти. Это был замечательно выдержанный, ровный и сосредоточенный характер, умевший делать уступки только для других, а не для себя. Все, что ни

делал Гордей Евстратыч, он делал с тем особенным достоинством, с каким делали свои дела старинные люди. По-видимому, самые ничтожные действия домашнего обихода для него были преисполнены великого внутреннего смысла. Например, чего проще выпить чаю? А между тем у Гордея Евстратыча из этого заурядного проявления вседневной жизни составлялась настоящая церемония: во-первых, девка Маланья была обязана подавать самовар из секунды в секунду в известное время – утром в шесть часов и вечером в пять; во-вторых, все члены семьи должны были собираться за чайным столом; в-третьих, каждый пил из своей чашки, а Гордей Евстратыч из батюшкова стакана; в-четвертых, порядок разливания чая, количество выпитых чашек, смотря по временам года и по значениям постных или скоромных дней, крепость и температура чая – все было раз и навсегда установлено, и никто не смел выходить из батюшкова устава. В будни это чаевание имело деловой сосредоточенный характер, а в праздники, особенно в разговенья, превращалось в настоящее торжество. Пить чай Гордей Евстратыч любил до страсти и выпивал прямо из-под крана десять стаканов самого крепкого чая, иначе не садился за стол, даже в гостях, потому что не любил недоканчивать начатого дела. «Чай разбивает кровь», – говорил Гордей Евстратыч, вытирая катившийся с лица пот особым полотенцем. Обеды и ужины проходили еще торжественнее чаевания, как и вообще весь домашний распорядок. Больше всего ненавидел в людях Гордей Евстратыч торопливость, потому что кто торопится, тот, по его мнению, всегда плохо делает свое дело и потом непременно обманет. Каким путем вязалось последнее заключение с торопливостью – оставим на совести самого Гордея Евстратыча, который всегда говорил, что торопливого от плута не различить. По всей вероятности, это наблюдение было унаследовано от батюшкиных заветов.

Как семьянин Гордей Евстратыч был безупречный человек; он ко всем относился одинаково ровно, судил только после основательного рассмотрения проступка, не любил дразг и ссор и во всем прежде всего домогался спокойного порядка. Овдовев рано, он не женился во второй раз для детей, которых и воспитывал по батюшкиным строгим заветам, не давая потачки в важном и не притесняя напрасно в мелочах. Крику и шуму он не выносил вообще, а все делал с повадкой, степенно, почему и недолюбливал нынешних модных людей, которые суются в делах, как угорелые. Но зато с старинными людьми Гордей Евстратыч обращался так важегато, что удивлял даже самых древних стариков. Особенно хорош бывал Гордей Евстратыч по праздникам, когда являлся в свою единоверческую церковь, степенно клал установленный «начал» с подрушником в руках, потом раскланивался на обе стороны, выдерживал всю длинную службу по ниточке и часто поправлял дьячков, когда те что-нибудь хотели пропустить или просто забалтывались. В двенадцатые праздники он становился на клирос

и пел свежим тенором по крюкам, которые постиг в совершенстве еще под батюшковым руководством. Так же себя держали Колобовы, Савины и Пазухины, перешедшие в единоверие, когда австрийские архиереи были переловлены и рассажены по православным монастырям, а без них в раскольничьем мире, имевшем во главе старцев и стариц, начались бесконечные междоусобия, свары и распри. Только Шабалины продолжали упорно держаться древнего благочестия, несмотря на всевозможные внешние и внутренние запинания, хотя и не избегали благословенных церковников, как они называли единоверцев.

Но как строго ни соблюдал себя и свою жизнь Гордей Евстратыч, – он являлся только выразителем ее внешней стороны, а самый дух в доме поддерживался Татьяной Власьевной, которая являлась значительной величиной в своем кругу. Никто лучше не знал распорядков, свычаев и обычаев старинного житья-бытья, которое изобрело тысячи церемоний на всякий житейский случай, не говоря уже о таких важных событиях, как свадьбы, похороны, родины, разные семейные несчастья и радости. К Татьяне Власьевне шли за советом и указанием по всякому поводу, и она никому не умела отказать, даже самому Вуколу Логинычу, если бы он пришел к ней. Кроме этого, она славилась как известная постница, богомолка и начетчица, а затем как тайная благодетельница. Конечно, под началом такого человека жизнь в брагинском доме текла самым образцовым порядком, на поученье всем остальным. Несмотря на свои малые достатки, Татьяна Власьевна всегда ухитрялась прокармливать у себя во флигельке пять-шесть бесприютных старушек. Вообще это была типичная представительница раскольничьей старухи, заправлявшей всем домом, как улитка своей раковиной. Быть в меру строгой и в меру милостивой, уметь болеть чужими напастями и не выдавать своих, выдерживать характер даже в микроскопических пустяках, вообще задавать твердый и решительный тон не только своему дому, но и другим – это великая наука, которая вырабатывалась в раскольничьих семьях веками.

К снохам Татьяна Власьевна относилась, как к родным дочерям, и они походили под ее началом на двух сестер, потому что всегда одевались одинаково, чем приводили в глубокое умиление истинных почитателей старины. Белокурая красавица Ариша и высокая полная Дуня, когда шли в церковь в одинаковых шелковых платочках и в таких же сарафанах с настоящим золотым позументом, действительно представляли умилительное зрелище. И мужья у них были славные. Конечно, Михалко немного был тяжел характером, лишку не разговорится, но парень основательный и всем делом мог один заправлять; Архипу всего еще минуло девятнадцать лет, и он хотя был женатый человек, но в своей семье находился на положении подростка. С него большой работы и не

спрашивалось; лишь бы присматривался около отца да около старшего брата, а там в годы войдет, так и сам других поучит. Только вот характером Архип издался ни в мать, ни в отца, ни в бабушку, а как-то был сам по себе: все ему нипочем, везде по колено море. Чтобы малый не избаловался, Татьяна Власьевна нарочно и женила его раньше, да и жену ему выбрала тихую, чтобы мужа удерживала. Снохи втягивались в порядки брагинского дома исподволь и незаметно делались его неотъемлемой составной частью, как члены одного живого организма.

Вообще невестками своими, как и внуками, Татьяна Власьевна была очень довольна и в случае каких недоразумений всегда говорила: «Ну, милушка, час терпеть, а век жить...» Но она не могла того же сказать о невитом сене, Нюше, характер которой вообще сильно беспокоил Татьяну Власьевну, потому что напоминал собой нелюбимую дочь-модницу, Алену Евстратовну. Конечно, последнего осторожная старуха никому не высказывала, но тем сильнее мучилась внутренно, хотя Нюша сама по себе была девка шелк шелком и из нее подчас можно было веревки вить.

– Ох, мудреная ты моя головушка, – иногда говорила Татьяна Власьевна, когда Нюша с чем-нибудь приставала к ней. – Как-то ты жить-то на белом свете будешь?

– А так и буду... Если бранить будешь, в скиты уйду к Шабалиным.

– Ах, ну тебя совсем... Вот ужо услышит отец-то, так он тебя за косу.

Вообще брагинская семья была самой образцовой, как полная чаша, и даже модница Алена Евстратовна и пьяница Зотушка не ставились в укор Татьяне Власьевне, потому что в семье не без уроды.

Судьба Зотушки, любимого сына Татьяны Власьевны, повторяла собой судьбу многих других любимых детей – он погиб именно потому, что мать не могла выдержать с ним характера и часто строжила без пути, а еще чаще миловала. Способный, живой ребенок скоро понял мать, а потом забрал и свою волю, которая и привела его к роковой первой рюмочке. Приспособляли Зотушку к разным занятиям, но из этого ничего не вышло, и Зотушка остался просто при домашности, говоря про себя, что без него, как без поганого ведра, тоже не обойдешься... Вместо настоящего дела Зотушка научился разным художествам:

отлично стряпал пряники, еще лучше умел гонять голубей, знал секреты разных мазей, имел вообще легкую руку на скота, почему и заведовал всей домашней скотиной, когда был «в себе», обладал искусством ругаться с стряпкой Маланьей по целым дням и т. д., и т. д.

VI

С угла на угол от брагинского дома стоял пятистенный дом Пазухиных, семья которых состояла всего из трех членов – самого хозяина Силы Андроныча, его жены Пелагеи Миневны и сына Алексея. В их же доме проживала старая родственница с мужней стороны, девица Марфа Петровна; эта особа давно потеряла всякую надежду на личное счастье, поэтому занималась исключительно чужими делами и в этом достигла замечательного искусства, так что попасть на ее острый язычок считалось в Белоглинском заводе большим несчастьем вроде того, если бы кого продернули в газетах.

– А у Брагиных-то не того... – заметила однажды Марфа Петровна, когда они вместе с Пелагеей Миневной перекладывали на погребке приготовленные в засол огурцы вишневым и смородинным листом.

– А что, Марфа Петровна? – осведомилась Пелагея Миневна, шустрая старушка с бойкими черными глазами.

– Да так!.. неладно, – нарочно тянула Марфа Петровна, опрокидываясь в большую кадочку своим полным корпусом по пояс; в противоположность общепринятому типу высохшей, поблекшей и изможденной неудовлетворенными мечтаниями девственницы, Марфа Петровна цвела в сорок лет как маков цвет и походила по своим полным жизни формам скорее на счастливую мать семейства, чем на бесплодную смоковницу.

– Уж не болен ли кто? – сделала догадку Пелагея Миневна, осторожно опуская на пол решетку с вымытыми в двух водах и вытертыми насухо кунгурскими огурцами.

В Белоглинском заводе климат был настолько суров, что огурцы росли только в тепличках и парниках, как это было у Пятовых и Шабалиных, а все остальные должны были покупать привозный товар. Обыкновенно огурцы привозили из Кунгурского уезда, как арбузы из Оренбургской губернии, а яблоки из Перми.

Пробойная и дошлая на все руки Марфа Петровна, кажется, знала из своего уголка решительно все на свете и, как какой-нибудь астроном или метеоролог, делала ежедневно самые тщательные наблюдения над состоянием белоглинского небосклона и заносила в свою памятную книжку малейшие изменения в общем положении отдельных созвездий, в состоянии барометра и колебаниях магнитной стрелки. На своем наблюдательном посту Марфа Петровна изобрела замечательно точные методы исследования, так что, как другие великие астрономы, могла предугадывать события и даже предчувствовать, чего астрономы еще не могут добиться. Так и в данном случае для Марфы Петровны было совершенно достаточно заметить, что в брагинском доме явились некоторые тревожные признаки, как она сейчас же решила, что там неладно. Опытный пчеловод по гудению пчел узнает состояние улья. Эти признаки были следующие: в горнице Гордея Евстратыча по ночам горит огонь до второго и до третьего часу, невестки о чем-то перешептываются и перебегают по комнатам без всякой видимой причины, наконец, сама Татьяна Власьевна ходила к о. Крискенту, что Марфа Петровна видела собственными глазами. Кажется, достаточно...

– В самом деле, не прихворнул ли у них кто? – спрашивала во второй раз Пелагея Миневна, напрасно стараясь замаскировать свое неукротимое бабье любопытство равнодушным тоном.

– Нет, все здоровы, а только что-то неладно... Вон в горнице-то у Гордея Евстратыча до которой поры по ночам огонь светится. Потом сама-то старуха к отцу Крискенту ходила третьева дни...

– Неужели?.. Как же это я-то ничего не заметила, Марфа Петровна?..

В уме обе женщины сейчас же перебрали все подходящие мотивы, но ничего не объяснялось ими. Уж не сватают ли Ньюшу, или, может, письмо откуда получили?.. Вообще это неожиданное открытие встревожило обеих женщин, и Марфа Петровна сейчас же после обеда, закинув какое-то заделье, отправилась сначала к Савиным, а потом к Колобовым. Эта наблюдательная и, в сущности, очень добрая особа работала на Пазухиных, как мельничное колесо, но, когда на

горизонте всплывало тревожившее ее облако, она бросала всякую работу, надевала на голову черную шерстяную шаль и отправлялась по гостям, где ей всегда были рады. Известный запас новостей мучил Марфу Петровну, как мучит картежника каждый свободный рубль или как мучит нас самая маленькая песчинка, попавшая в глаз; эта девица не могла успокоиться и войти в свою рабочую колею до тех пор, пока не выбалтывала где-нибудь у Савиных или Колобовых решительно все, что у нее лежало на душе.

«Пошла наша кума со сплетней, как курица с яйцом», – подумала Пелагея Миневна про Марфу Петровну, но сказать это вслух, конечно, побоялась.

А Марфа Петровна, торопливо переходя дорогу, думала о том, что авось она что-нибудь узнает у Савиных или Колобовых, а если от них ничего не выведает, тогда можно будет завернуть к Пятовым и даже к Шабалиным. Давно она у них не бывала и даже немножко сердилась, потому что ее не пригласили на капустник к Шабалиным. Ну, да уж как быть, на всякий чох не наздравствуешься.

Савины жили в самом рынке, в каменном двухэтажном доме; второй этаж у них всегда стоял пустой, в качестве парадной половины «на случай гостей». Сами старики с женатым сыном жили в нижнем этаже, где летом было сыро, а зимой холодно. Крытый наглухо, по-раскольничьи, широкий двор и всегда запертые на щеколду ворота савинского дома точно говорили о том, что в нем живут очень плотно. Старик Кондрат Гаврилыч немножко «скудался глазами» и редко куда выходил; всей торговлей заправлял женатый сын. Собственно, из этой семьи славилась сама Савиха, или Матрена Ильинична, высокая дородная старуха, всегда щеголявшая в расшитой шелками и канителью кичке. Красавица была в свое время и великая щеголиха, а теперь пользовалась большой популярностью как говоруха. Сама Марфа Петровна побаивалась бойкой на язык Савихи и выучилась у ней многим ораторским приемам.

– Ах, кумушка, наконец-то завернула к нам, – ласково встретила Матрена Ильинична гостью. – А мы тут совсем мохом обросли без тебя...

– То-то, поди, соскучились? – отшучивалась Марфа Петровна, стараясь попасть в спокойно-добродушный тон важной старухи. – Авдотья-то Кондратьевна давненько у вас была?

– На той неделе забегала под вечерок. Рубахи приходила кроить своему мужику. Дело-то непривычное, ну и посумлевалась, как бы ошибочку не сделать, а то Татьяна-то Власьевна, пожалуй, осудит... А что?

– Да я так сказала... живем из окна в окно, а я что-то давно не видала Авдотьи-то Кондратьевны. Цветет она у вас как мак, и Гордей-то Евстратыч не насмотрится на нее.

Марфа Петровна побоялась развязать язык перед Матреной Ильиничной, потому что старуха была нравная, с характером, да и милую дочку Дунюшку недавно еще выдала в брагинский дом, пожалуй, не ровен час, обидится чем-нибудь.

– А как Кондрат Гаврилыч? – тараторила Марфа Петровна, заминая разговор.

– Чего ему делается... – нехотя ответила Матрена Ильинична. – Работа у него больно невелика: с печи на полати да с полатей на печь... А ты вот что, Лиса Патрикеевна, не заматай хвостом следов-то!

– Я ничего, Матрена Ильинична... ей-богу... Я так сказала...

– Не заговаривай зубов-то, матушка, я немножко пораньше тебя родилась...

Делать нечего, Марфа Петровна рассказала все, что сама знала, и даже испугалась, потому что совсем перетревожила старуху, которая во всем этом «неладно» видела только одну свою ненаглядную Дунюшку, как бы ей чего не сделали в чужом доме, при чужом роде-племени.

– А я еще зайду к Колобовым; может, у них не узнаю ли что, – успокаивала Марфа Петровна, – а от них, если ничего не узнаю, дойду до Пятовых... Там уж наверно все знают. Феня-то Пятова с Нюшей Брагиной – водой не разлить...

– Ох, боюсь я за Дуняшку-то свою, – стонала Матрена Ильинична. – Внове ее дело, долго ли до какой напасти...

– Так уж я зайду к вам, Матрена Ильинична, как пойду обратно, и все выложу, как на духу.

– Ну, ступай, ступай, таранта.

Марфа Петровна полетела в колобовский дом, который стоял на берегу реки, недалеко от господского дома, в котором жили Пятовы. По своей архитектуре он принадлежал к тем старинным деревянным постройкам, с светелками и переходами, какие сохранились только в лесистой северной полосе России и только отчасти на Урале. В колобовском доме могло поместиться свободно целых пять семейств, и, кроме того, в подвале была устроена довольно просторная моленная. Старики Колобовы были только наполовину единоверцами и при случае принимали австрийских попов, хотя и скрывали это от непосвященных. Самойло Михеич вел довольно большую железную торговлю; это был крепкий седой старик с большой лысой головой и серыми, светлыми улыбающимися глазами, – Ариша унаследовала от отца его глаза. Жена Самойла Михеича была как раз ему под стать, и старики жили как два голубя; Агния Герасимовна славилась как большая затейница на все руки, особенно когда случалось праздничное дело, – она и стряпать первая, и гостей принимать, и первая хоровод заведет с молодыми, и даже скакала сорокой с малыми ребятишками, хотя самой было под шестьдесят лет. Вообще веселая была старушка, гостеприимная, ласковая. В большом колобовском доме с старинной вычурной мебелью и какими-то невероятными картинами в золоченых облупившихся рамах все чувствовали себя как-то особенно свободно, точно у себя дома. Марфа Петровна особенно любила завернуть к Агнии Герасимовне и покалякать с ней от души: добрая, хлебосольная старушка не прочь была и посплетничать, хотя и сознавала, что это нехорошо. Да и как удержаться, когда подвернется такая сорока, как Марфа Петровна.

– Милости прошу, Марфа Петровна, давненько не видались, – встретила свою гостью Агния Герасимовна. – Новенького чего нет ли? Больше нашего людей-то видите, – продолжала хозяйка, вперед знавшая, что недаром гостью тащила такую даль.

Марфа Петровна вылила свои наблюдения о брагинском доме, прибавив для красного словца самую чуточку. В оправдание последнего Марфа Петровна могла сказать то, что сама первая верила своим прибавкам. Принесенное ею известие заставило задуматься Агнью Герасимовну, которая долго припоминала что-то и наконец проговорила:

– Чуть-чуть не захлестнуло... И ведь какая штука вышла! На неделе как-то наша пестрянка две ночи заночевала в лесу, ну, Самойло Михеич и послал кучера

искать ее. Только кучер целый день проездил на вершней, а потом и приехал с пустыми руками. Стала я его расспрашивать, где и как он искал, – грешный человек, подумала еще, что где-нибудь в кабаке он просидел! Ну, кучер мне и говорит, что будто встретил он на дороге в Полдневскую Гордея Евстратыча. Я еще посмеялась про себя, думаю, и соврать-то не умеет мужик... А оно выходит, пожалуй, и правда!..

Это открытие дало неистощимый материал для новых предположений и догадок. Теперь уже не могло быть никакого сомнения, что действительно в брагинском доме что-то неладно. Куда ездил Гордей Евстратыч? Кроме Полдневской – некуда. Зачем? Если бы он ездил собирать долги с полдневских мужиков, так, во-первых, Михалко недавно туда ездил, как знала Агния Герасимовна от своей Ариши, а во-вторых, зачем тогда Татьяне Власьевне было ходить к о. Крискенту. И т. д., и т. д.

Одним словом, Марфа Петровна возвратилась домой с богатым запасом новостей, который еще увеличился дорогой, как катившийся под гору ком снега. Пелагея Миневна так и ахнула, когда услышала, что Гордей Евстратыч сам гонял в Полдневскую. Теперь дело было уже яснее дня! Брагины хотят заняться приисками... Да! И главное, потихоньку от других. Хороши, нечего сказать, а еще соседи. Если бы не Марфа Петровна, да тут бог знает что вышло бы. Пелагея Миневна и Марфа Петровна так разгорячились от этих разговоров, что открыто начали завидовать несметным богатствам Брагиных, позабыв совсем, что эти богатства пока еще существовали только в их воображении.

– И вот попомните мое слово, Пелагея Миневна, – выкрикивала Марфа Петровна, страшно размахивая руками, – непременно все они возгордятся и нас за соседей не будут считать. Уж это верно! Потому как мы крестьянским товаром торгуем, а они золотом, – компанию будут водить только с станovým да с мировым...

– Ну, про молодых не знаю, а что до Татьяны Власьевны, так она не такая старуха.

– Ох, не говорите, Пелагея Миневна: враг горами качает, а на золото он и падок... Я давеча ничего не сказала Агнее Герасимовне и Матрене Ильиничне – ну, родня, свои люди, – а вам скажу. Вот сами увидите... Гордей Евстратыч и так вон как себя держит высоко; а с тысячами-то его и не достанешь. Дом новый выстроят, платья всякого нашьют...

Обе женщины пожалели вместе, что вот им не достался же до сих пор никакой прииск.

Кроме этого, Пелагея Миневна лелеяла в душе заветную мысль породниться с Брагиными, а теперь это проклятое золото могло разрушить одним ударом все ее надежды. Старушка знала, что Алешке нравится Нюша Брагина, а также то, что и он ей нравится.

«Уж как бы хорошо-то было, – думала Пелагея Миневна. – Еще когда Алеша да Нюша ребятками маленькими были и на улице играли постоянно вместе, так я еще тогда держала на уме. И лучше бы не надо...»

Действительно, между Алексеем Пазухиным и Нюшей незаметно образовались те хорошие и дружеские отношения, под которыми тлела настоящая любовь. Собственно, стороны не давали отчета в своих чувствах, а пока довольствовались тем, что им было хорошо вместе. Детская дружба принимала форму более сильного чувства, и только недоставало у Алеши смелости, чтобы взять свое. Он был скромный и совестливый парень, а Нюша такая бойкая и красивая. В ее присутствии он каждый раз сильно робел и беспрекословно переносил всевозможные шалости, когда Нюша, улучив свободную минутку, встречалась с своим обожателем где-нибудь у ворот. Эти свидания происходили в сумерки. Нюша, накинув на плечи заячью шубейку, выскакивала за ворота и, по странной случайности, как-то всегда попадала на Алешу, который только и жил сумерками.

– Вот чему не потеряться-то... – смеялась Нюша, кутаясь в шубейку. – Носу нельзя показать без тебя, Алеша. Ты никак в сторожа нанялся в нашу Старую Кедровскую?

– У вас, Анна Гордеевна, всегда такие слова... как ножом по сердцу режете...

– Какая я тебе Анна Гордеевна?.. Придумал тоже... А я так про себя всегда тебя Алешкой навеличиваю: Алешка Пазухин – и вся тут. Вместе в снежки, бывало, играли, на салазках катались... Позабыл, видно?

– Мало ли что прежде было... И теперь можно бы когда вечером по улице на саночках прокатиться... Эх, лихо бы я вас прокатил, Анна Гордеевна!

– А бабушка-то?.. Да она тебе все глаза выцарапает, а меня на поклоны поставит. Вот тебе и на саночках прокатиться... Уж и жисть только наша! Вот Феня Пятова хоть на ярмарку съездила в Ирбит, а мы все сиди да посиди... Только ведь нашему брату и погулять что в девках; а тут вот погуляй, как цепная собака. Хоть бы ты меня увез, Алешка, что ли... Ей-богу! Устроили бы свадьбу-самокрутку, и вся тут. В Шабалинских скитах старики кого угодно сводом свенчают.

Иногда Нюше доставляло громадное удовольствие хорошенько помучить своего обожателя, особенно в Святки, где-нибудь на вечеринке. У Алешки был соперник в лице Володьки Пятова, избалованного барчука, который учился в гимназии до третьего класса и успел отведать всяких благ городской цивилизации. С белоглинскими девицами, в качестве управительского сына, он обращался совсем свободно и открыто ухаживал за Нюшей, которая дурачилась с ним напропалую, чтобы побесить Алешку. На то и Святки, чтобы дурачиться. По старинному обычаю, на белоглинских вечерах молодые люди открыто целовались между собой бесчисленное количество раз, как того требовала игра или песня. Даже сама строгая Татьяна Власьевна раз, когда Нюша ни за что не хотела целоваться с каким-то не понравившимся ей кавалером, заставила ее исполнить все по правилу и прибавила наставительно: «Этого, матушка, нельзя, чтобы не по правилу, – из игры да из песни слова не выкинешь... За углом с парнями целоваться нехорошо, а по игре на глазах у отца с матерью и Бог простит!»

Увертливый, смелый, научившийся всяким художествам около арфисток и других городских девиц, Володька Пятов являлся для застенчивого Алеши Пазухина истинным наказанием и вечным предметом зависти. В обществе этого сорванца Нюша делалась совсем другой девушкой и точно сама удивлялась, как она могла по вечерам выбегать за ворота для этого пустоголового Алешки, который был просто смешон где-нибудь на вечеринках или вообще в компании.

– Неужели он тебе нравится, этот чурбан Алешка? – иногда спрашивала Нюшу бойкая Феня Пятова. – Он и слова-то по-человечески не может сказать, я думаю... К этакому-то чуду ты и выбегаешь за ворота? Ха-ха...

– А что же мне делать, если никого другого нет... Хоть доколе в девках-то сиди. Ты вон небось и на ярмарке была, и в другие заводы едешь, а я все сиди да посиди. Рад будешь и Алешке, когда от тоски сама себя съесть готова... Притом меня непременно выдадут за Алешку замуж. Это уж решено. Хоть поиграю да

потешусь над ним, а то после он же будет величаться надо мной да колотить.

- Уж и нашли же вы сокровище... Где у ваших-то глаза, если так? Да я бы удавилась, а не пошла за твоего Алешку...

- Это все бабушка, Феня... А у ней известная песня: «Пазухинская природа хорошая; выйдешь за единственного сына, значит, сама большая в доме – сама и маленькая... Ни тебе золовок, ни других снох да деверьев!» Потолкуй с ней, ступай... А, да мне все равно! Выйду за Алешку, так он у меня козырем заходит.

- Вот если бы он в отца, в Силу Андроныча, уродился, тогда бы другое дело...

Сила Андронович Пазухин был знаменитый человек в своем роде, хотя и не из богатых; красавец, силач, краснобай – он был мастер на все руки и был не последним человеком в среде белоглинского купечества, даром что торговал только крестьянским товаром. В свое время об Силе Андроныче сохнули да вздыхали все белоглинские красавицы, и даже сама Матрена Ильинична, как говорила молва, была неравнодушна к нему. В Николин день, девятого мая, когда в Белоглинском заводе праздновали престольный праздник и со всех сторон набирались гости, на площади устраивалась старинная русская потеха – борьба. Это была настоящая церемония, в которой из года в год заводы соперничали между собой своими борцами. Приезжали из завода Курмыша, из Вязловского, из Плотицынского; со всех сторон набирался разный народ. И каждый раз в течение двадцати лет Сила Пазухин «уносил круг», то есть оставался победителем. В сорок лет Пазухин кончил эту молодецкую забаву и только под веселую руку иногда любил тянуться на палке, причем обыкновенно перетягивал всех. Теперь Силе Андронычу было под шестьдесят лет. Это был приземистый толстый старик с обрюзгшим лицом и кудрявыми волосами; прежняя красота заплыла жиром, а сила износилась. Не имея возможности тешиться прежними молодецкими забавами, как борьба и кулачный бой, Сила Андроныч пристрастился к лошадям и выкармливал замечательных бегунов киргизской крови. Купеческих лошадей с выгнутыми, как триумфальная арка, шеями он просто ненавидел. К недостаткам этого старика принадлежала, между прочим, его необыкновенная «скорость на руку», за что он платился сам первый. Семейных своих он не шевелил пальцем, впрочем, не из каких-нибудь гуманных побуждений, а просто из боязни порешить одним ударом. Зато прислуге, особенно подручным по лавке и кучерам, крепко доставалось от его скорости; поэтому у него кучера славились как самый отпетый народ, особенно один, по прозванию Ворон, любимец Силы Андроныча. Их сближение произошло довольно

оригинально. Купил Сила Андроныч с оренбургской линии гнеденького иноходчика и стал его выезжать, а потом заметил, что иноходчик с тела спадает. Отыскав какую-то ссадину на лопатке, несомненное доказательство жестокого обращения Ворона, – Сила Андроныч захотел немножко поучить последнего, а наука короткая: положил нагайку в карман и – в конюшню к Ворону. Ворон что-то прибирал в конюшне, когда хозяин вошел к нему. Это был мрачный субъект, черный, как цыган, и с одним глазом. Сила Андроныч, прочитав приличное наставление своему любимцу на тему, что «блажен иже и скоты милует», для большей убедительности своих слов принялся опытной рукой полировать Ворона. Но Ворон не потерялся, а схватив запорку от конюшни, быстро из оборонительного положения перешел в наступательное: загнал хозяина в угол и, в свою очередь, так его поучил, что тот едва успел ноги в горницу.

– Молодец, если умел Сила Пазухина поучить... – говорил на другой день Сила Андроныч, подавая Ворону стакан водки из собственных рук. – Есть сноровка... молодец!.. Только под ребро никогда не бей: порешишь грешным делом... Я-то ничего, а другому, пожиже, и не дохнуть. Вон у тебя какие безмены.

Ворон и теперь жил у Пазухиных и пользовался неизменным расположением хозяина все время, хотя сам оставался туча тучей.

Сын Алексей нисколько не походил на отца ни наружностью, ни характером, потому что уродился ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Это был видный парень, с румяным лицом и добрыми глазами. Сила Андроныч не считал его и за человека и всегда называл девкой. Но Татьяна Власьевна думала иначе – ей всегда нравился этот тихий мальчик, как раз отвечавший ее идеалу мужа для ненаглядной Нюши.

– И хорошо, что не в отца пошел, – говорила она, – с таким бойцом жить – без ребрышка ходить... А нам не дорога его-то разгулка, а дорога домашняя потребность.

В брагинском доме было тихо, но это была самая напряженная, неестественная тишина. «Сам» ходил по дому как ночь темная; ни от кого приступу к нему не было, кроме Татьяны Власьевны. Они запирались в горнице Гордея Евстратыча и подолгу беседовали о чем-то. Потом Гордей Евстратыч ездил в Полдневскую один, а как оттуда вернулся, взял с собой Михалка, несколько лопат и кайл и опять уехал. Это были первые разведки жилки.

Стояла глубокая осень; по ночам земля крепко промерзала. Лист на деревьях опал; стояли холодные ветры, постоянно дувшие из «гнилого угла», как зовут крестьяне северо-восток. Солнце не показывалось по неделям. Все в природе точно съежилось, предчувствуя наступление холодной зимы. Вот в один из таких дней Гордей Евстратыч с Михалком подъезжали верхами к Полдневской, но, не доезжая деревни, они взяли влево и лесистым увалом, по какой-то безымянной тропинке, начали подниматься вверх по реке. Гордей Евстратыч не хотел, чтобы его видели в Полдневской, где он недавно был – проведать Маркушку, который все тянулся изо дня в день, сам тяготясь своим существованием. Другие старатели, кажется, начинали догадываться, зачем ездил Брагин к ним, и теперь он решил не показываться полднякам до поры до времени, когда все дело будет сделано.

– Я бы теперь же сделал заявку жилки, мамынька, – говорил Гордей Евстратыч перед отъездом, – да все еще сумлеваюсь насчет Маркушки... Не надул ли он меня? Объявишь жилку, насмешишь весь мир, а там, может, ничего и нет.

– А ты бы съездил посмотреть шахту-то.

– Так и сделаем. Один-то я был около нее, да одному ничего нельзя поделывать. Надо Михалку прихватить. Потому, первое, в шахту спускаться надо; а один-то залезешь в нее, да, пожалуй, и не вылезешь.

Проехав верст пять по реке Полуденке, путники переехали вброд горную речонку Смородинку и по ней стали подниматься к самой верхотине. Место было дикое – косогор на косогоре. Приходилось продираться через дремучую еловую заросль, где и пешему пройти в добрый час, а не то что верхом, на лошади. Даже не было никакой тропы, какую выбивают дикие лесные козлы. Осенью этот лес особенно был мрачен и глухо шумел, раскачиваясь мохнатыми вершинами. Трава давно поблекла, прибрежные кусты смородины и тальника жалко топорщились своими оголенными ветвями. Гордей Евстратыч ехал вперед, низко наклоняясь под навесом еловых ветвей, загораживавших дорогу, как длинные корявые руки.

Вот и верхотина Смородинки, где эта речонка сочится из горы Заразной небольшим ключиком. Вот и увал, который идет от Заразной на полдень, а вот и те два кедра, о которых говорил Маркушка. Место дикое, кругом лес, глухо, точно в каком склепе.

– Здесь... – говорит Евстратыч, подъезжая к кедром.

Они спешили. В нескольких шагах от кедров, на небольшой поляне, затянутой молодым ельником, едва можно рассмотреть следы чьей-то работы, именно два поросших кустарником бугра, а между ними заваленное кустарником отверстие шахты. Издали его можно даже совсем не заметить, и только опытный глаз старателя сразу видел, в чем дело.

Они осмотрели шахту, а затем очистили вход в нее. Собственно, это была не шахта, а просто «дудка», как называют неправильные шахты без срубов. Такие дудки могут пробиваться только в твердом грунте, потому что иначе стенки дудки будут обваливаться.

– Ну, теперь нужно будет лезть туда, – проговорил Гордей Евстратыч, вынимая из переметной сумы приготовленную стремянку, то есть веревочную лестницу. – Одним концом захватим за кедр, а другой в яму спустим... Маркушка сказывал – шахта всего восемнадцать аршин идет в землю.

– Как бы, тятенька, не оборваться, – заметил Михалко, помогая привязывать конец стремянки к дереву. – Я полегче вас буду – давайте я и спущусь...

– Нет, я сам...

На случай был захвачен фонарь с выпуклым стеклом, известный под именем коровьего глаза. Предварительно на длинной веревке спущены были в дудку лопата и кирка. Перекрестившись, Гордей Евстратыч начал по стремянке спускаться вниз, где его сразу охватило затхлым, застоявшимся воздухом, точно он спускался в погреб. Пахло глиной и гнилым деревом. Раскинув руками, он свободно упирался в стенки дудки. В одном месте сорвался камень и глухо шлепнулся на самое дно, где стояла вода. Верхнее отверстие шахты с каждым шагом вниз делалось все меньше, пока не превратилось в небольшое окно неправильной формы. Наконец Гордей Евстратыч стал на самое дно шахты, где стояла лужа грязноватой воды. Он зажег свой «коровий глаз», перекрестился и

взялся за кирку. При ярком освещении можно было рассмотреть следы недавней работы и самую жилку, то есть тот кварцевый прожилок, который проходил по дну шахты углом. Куски кварца были перемешаны с глиной и охрой; преобладающую породу составлял отвердевший глинистый сланец с следами талька, железного колчедана и красика, то есть ярко окрашенной красной глины. Маркушка, добывая золото, сделал небольшой забой, то есть боковую шахту; но, очевидно, работа здесь шла только между прочим, тайком от других старателей, с одним кайлом в руках, как мыши выгрызают в погребах ковриги хлеба. Гордей Евстратыч внимательно осмотрел все дно шахты и забой, набрал руды целый мешок и, зацепив его за веревку, свистнул, – это был условный знак Михалке поднимать руду. Таким образом мешок спустился и поднялся раз пять, а Гордей Евстратыч продолжал работать кайлом, обливаясь потом. Его огорчало то обстоятельство, что нигде не попадаются такие куски «скварца», какой ему дал Маркушка, хотя он видел крупинки золота, вкрапленные в охристый красноватый и бурый кварц. Но все-таки это была настоящая жилка, в чем Гордей Евстратыч убеждался воочию; оставалось только воспользоваться ею. Он уже чувствовал себя хозяином в этой золотой яме, которая должна его обогатить. В порыве чувства Гордей Евстратыч пал на колени и горячо начал благодарить Бога за ниспосланное ему сокровище.

«Эх, не вылез бы отсюда», – думал он, в последний раз оглядывая свои сокровища ревнивым хозяйским глазом.

Но нужно было уехать засветло домой, и Гордей Евстратыч выбрался наверх, где его дожидался молчаливый Михалко.

Итак, жилка оказалась форменной, как следует быть жилке. Оставалось только заявить ее где следует – и дело с концом. Но вот тут и представлялось первое затруднение. Именно, по горному уставу, во-первых, прежде чем разыскивать золото, требуется предварительное дозволение на разведки в такой-то местности, при таком-то составе разведочной партии; во-вторых, требуется заявка найденной россыпи по известной форме с записью в книги при полиции, и, наконец, самое главное – разрешается частной золотопромышленности производить разведки и эксплуатацию только золота в россыпях, а не жильного. Конечно, при покупке заявленных приисков первые два правила не имеют значения, но ведь Маркушкина дудка не была нигде заявлена, следовательно, как же мог Гордей Евстратыч узнать о содержащемся в ней золоте.

– А если возьму свидетельство на разведки золота да потом и заявлю эту шахту? – говорил Гордей Евстратыч, когда был в последний раз у Маркушки.

– Нет... невозможно, – хрипел Маркушка, не поворачивая головы. – Уж тут пронюхают, Гордей Евстратыч, все пронюхают... Только деньги да время задарма изведешь... прожженный народ наши приисковые... чистые варнаки... Сейчас разыщут, чья была шахта допрежь того; выищутся наследники, по судам затаскают... нет, это не годится. Напрасно не затевай разведок, а лучше прямо объявись...

– Да ведь мне не дадут работать жильное золото?

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

То есть при смерти. (Примеч. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

Купить: https://telnovel.me/ru/mamin-sibiryak_dmitriy/dikoe-schast-e

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)